



Людмила Магон
ПИСЬМА
НАЧАЛО ПОВЕСТИ



Людмила Магон
ПИСЬМА
НАЧАЛО
ПОВЕСТИ

Публикация Раисы Орловой и Льва Копелева

Ардис

Copyright ©1983 by Ardis

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, MI 48104

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Magon, Liudmila, 1930-1974.
Pis'ma. Nachalo povesti.

I. Magon, Liudmila, 1930-1974. Nachalo povesti,
1983. II. Title.

PG3483.2.G66P5 1983 891.78'4409 83-15031

ISBN 0-88233-863-3

ISBN 0-88233-864-1 (pbk.)

ЛЮДМИЛА МАГОН

ПИСЬМА. НАЧАЛО ПОВЕСТИ.

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА

Мы познакомились в ноябре 1968 г. в коридоре Саратовского университета.

В марте 74-го года мы получили телеграмму: „Людмила Борисовна скончалась от инсульта”.

За шесть лет мы виделись не часто — жили в разных городах; она приезжала в Москву каждый раз ненадолго. Но короткие встречи всегда были наполнены — она рассказывала, расспрашивала, делилась замыслами. Из этих разговоров, из писем, мы все больше узнавали ее, все ближе становилась ее трудная и прекрасная жизнь.

У нее были очень светлые глаза — небольшие, с серо голубыми зрачками. Темно-русые, коротко стриженные волосы. Лицо широкое, чуть скуластое, крепко вылепленное, всегда загорелое, и летом и зимой, всегда обветренное. Лицо юноши и не горожанина, а лесовика, степняка. А взгляд девичий — застенчивый, внимательный, чаще печальный, чем веселый.

Коренастая, широкая в плечах, крепко, ладно скроенная, она шагала, чуть прихрамывая, но легко и твердо.

В первый раз мы ее увидели в темном, кожаном шлеме, потертой куртке и высоких сапогах. Она приехала в Саратов из города Маркса на мотоцикле, приходила к нам на лекции.¹

Сначала она показалась нам сильной, мужественной, степной „моторизованной амазонкой”. Уже раньше мы слышали о ней от нескольких саратовцев, которые любовно и уважительно говорили о Люсе Магон — „книгоноше”, неутомимой просветительнице.

+ + +

Людмила Борисовна училась на филологическом факультете в те годы, когда там преподавали ссыльные филологи А. В. Скафтымов и Ю. Г. Оксман. С юности ее привлекал Лермонтов, его трагический образ, его поэзия и проза. Она хотела исследовать его жизнь и творчество, стала ученицей Оксмана. И этот взыскательный и придирчивый, часто суровый наставник привязался к ней — одной из самых любимых учениц. Он выделял ее среди других не за то, что она чрезвычайно добросовестно читала сверх программы, внимательно слушала, дельно, умно спрашивала,

1. Мы читали спецкурсы: Р. О. — „Современный американский роман” и „Творчество Э. Хемингуэя”. Л. К. — „Штурм унд Дранг и веймарский классицизм”, „Литературные процессы и ГДР и ФРГ”.

но прежде всего потому, что видел: она — словесница по призванию. Для нее книги — стихи и проза — были не столько предметами изучения, сколько источниками радостей, печалей и все новых „внеучебных”, „внефилологических” мыслей о людях, о мире, о себе.

Скафтымов умер; Оксман после реабилитации переехал в Москву. А Людмила Борисовна, не прощаясь с мечтой о Лермонтове, стала учительницей в городе Марксе, — районном центре Саратовской области на левом берегу Волги.

В 1968 г. она жила там с двенадцатилетним сыном и матерью-вдовой. Отец Люси, обрусевший латыш, был агрономом-садоводом, устраивал сады и парки в приволжских городах. Энтузиаст-бессребреник, он умер бедняком, оставив жене и дочери маленький домик. Дочь унаследовала от него еще и бескорыстие, верность призванию-долгу и целеустремленную настойчивость, которую мать иногда в сердцах называла „тихим упрямством”.

Учительница литературы очень скоро стала для многих своих учеников старшей подругой, товарищем. С первых же уроков она увлекала их, рассказывая, думая вслух и побуждая их думать о книгах и писателях давних времен так, что чужие горести огорчали по-настоящему, иных до слез, а чужие радости по-настоящему радовали, весилили, и мысли, возникшие давно и далеко, становились близкими, своими, сегодняшними.

Она была прирожденной учительницей. Она сама не могла жить без детей, и дети не могли без нее. Девушки и юноши приходили к ней после школы и в праздники, приходили стайками и по одиночке. Они вместе гуляли, вместе ходили на Волгу. Она плавала быстрее и дольше, чем лучшие пловцы города, купалась до глубокой осени. Она ходила неутомимо в дальние походы. Зажигала костер с первой спички. На велосипеде могла обогнать любого из своих учеников.

И в часы прогулок, и в дни походов они много разговаривали о книгах, читали стихи, рассказывали, спорили. Учительница вызывала на спор и не сердилась на возражения. По воскресеньям она возила учеников в Саратов. Там они осматривали город, музеи, картинную галерею „Волжский эрмитаж”. Все это потом долго обсуждалось.

В дни каникул ездили подальше — вдоль Волги — в Горький, Казань, Ульяновск, Кострому. А то и совсем далеко — в Москву, в Ленинград. И тогда стихи и поэмы из школьной программы по-новому оживали в тех местах, где некогда жили, страдали, работали Пушкин, Тургенев, Гончаров, Островский, Горький...

Некоторые из учеников Людмилы Борисовны стали ее друзьями надолго. Не только девушки, но и юноши поверяли ей свои тайны, сомнения, мечты. И закончив школу, они продолжали приходить к ней. Уезжавшие в другие края писали, приезжали в гости. К ней водили женихов и невест. Приходили рассказать о новой работе, о занятиях в институте. Несколько бывших учеников постоянно участвовали в ее экскурсиях и

даже в дальних походах с новыми школьниками.

+ + +

На первых порах преобладали одобрительные, даже восторженные отзывы. Ее хвалили не только ученики, но и многие родители, большинство коллег...

И Людмилу Борисовну „выдвинули”-назначили инспектором отдела народного образования. Она согласилась. Надеялась, что это освободит ее от постоянной, тягостной рутины, от которой не избавлены и самые хорошие учителя: от необходимости проверять горы тетрадей, писать длинейшие отчеты, „ликвидировать” двойки. Надеялась, что высвободившееся время будет посвящать Лермонтову. И, конечно же, надеялась, что станет просвещать уже не только детей, но и учителей. Новая работа сулила разнообразие и требовала подвижности. Она купила в рассрочку мотоцикл. Район большой. Между иными селами расстояние в десятки километров.

Она ездила и в жесточайшие морозы, секущие железными степными ветрами, и в распутицу, то и дело выволакивая из грязи увязавший мотоцикл, и в слепящую жару, когда часами не найти и пятнышка тени. Она попадала в аварии, дважды ломала ногу — в месте неудачно залеченного перелома то и дело возникала трофическая язва. Простужалась, болела тяжелыми плевритами...

Но едва оправившись, она снова загружала книгами портфель, сумку и седлала мотоцикл.

Ее прозвали книгоношей потому, что каждую новую, полюбившуюся ей книгу или журнал она, едва дочитав, спешила передать другим, ревниво следила за ее движением...

+ + +

К тому времени, когда мы познакомились, она уже хорошо знала свой район, учителей и директоров школ. После первого нашего разговора втроем — долгого до глубокой ночи в номере саратовской гостиницы — Люся пригласила нас в Маркс — хотела, чтобы мы рассказали тамошним учителям о зарубежной литературе. Мы поехали.

В трех комнатах ее маленького одноэтажного дома больше всего места занимали книги. Только в каморке матери они сравнительно скромно теснились в шкафу и на этажерках. Все другие пространства были заставлены как библиотечные хранилища самодельными стеллажами, увешены полками. Там были и книги русских авторов, и много переводных. Любой из выдающихся столичных филологов-литературоведов мог бы гордиться такой библиотекой. И это была не коллекция, не сокровенное хранилище, а именно живая, работающая библиотека. Сразу

виделось, что книги не застаиваются на полках. Тщательно обернутые в газеты они явно прошли через много рук. Почти во всех торчали закладки. На рабочем столе хозяйки лежали свежие журналы: „Новый мир”, „Иностранная литература”, „Юность”.

В приветливой книжной обители мы сидели долго, за полночь, пили вино и чай, разговаривали.

После наших докладов, которые слушали главным образом учителя местных школ, некоторые вопросы вызвали споры тут же в аудитории. Особенно горячились двое, как оказалось муж и жена. Он — верзила с ухватками районного комсомольского аппаратчика, вскакивая с места, широко размахивал руками.

— Это даже совсем непонятно! Именно никак непонятно! Как это так вы говорите, что этот самый Боль именно антифашистский и даже, так сказать, прогрессивный и так далее писатель, именно он уважает этого Солженицына... Ну, и что ж, что Твардовский? Это мне также именно непонятно. Как такой маститый советский и, так сказать, социалистического реализма поэт, как Твардовский и тот же ваш Боль могут давать положительные характеристики на Солженицына, когда он не только идеологически вредный, именно вреднейший антисоветский, но и в художественном смысле тоже... У него же этот, как его Иван Денисович, так это же не художественная литература, а, извините за выражение, именно матерщина.

Она — преподавательница литературы, долговязая, белобрысая, с большим тяжелым лицом нордической красавицы сидела в первом ряду, скрестив руки под грузным бюстом, и сварливо покрикивала:

— Действительно, получается непонятно. Как же это все-таки у вас получается, что даже в Эфеге, где имеется реваншизм и неофашизм и вообще диктатура капитала и там, значит, у вас получается, совершенно не преследуют писателей, которые за мир, за гуманизм и даже за социализм? И они, вроде, у вас получается, свободно все говорят, печатают, ведут пропаганду... Этому очень трудно поверить. Это получается вразрез со всем, что известно из нашей печати, из радио и вообще... Это уже получается идеологически не того...

Мы спорили вежливо, но решительно. Большинство слушателей нас поддержало. О том, что произошло позднее, мы узнавали из писем Люси.

В ее первых письмах — отражение, ответы очень трудной жизни, хотя большинство трудностей она скрывала. Она работала упрямо, вопреки сомнениям и неудачам и вопреки тому, что почти не видела, не могла дожидаться плодов своих усилий, работала вопреки неизбывной тяге к иной жизни, к Лермонтову, к своим ученикам, к своим книгам, к далеким друзьям.

Ее работой были довольны; однако наступила переломная пора — 68-69 годы. Оторопь и страх, вызванные пражской весной, сменились

чиновничьей подозрительностью, новыми приступами идеологических заморозков.

Районному КГБ было известно, что летом 67 года, когда Людмила Борисовна вместе с учениками ездила в дальний поход по „есенинским местам“, они по дороге побывали в Рязани, пришли с букетами на квартиру Солженицына и, не застав его, вручили цветы его теще. Эта поездка, ее откровенные речи на конференциях и в учительских комнатах, ее деятельность книгоноши, наш спор с теми людьми, которые были ее злейшими противниками, и все, что за этим последовало, привели к тому, что возникло „дело“.

Ей пришлось уйти с должности инспектора, а зав районо, который к ней очень хорошо относился, доверительно сказал, что уже бессилён помочь и что о преподавательской работе для нее не может быть и речи.

Тогда она попыталась вернуться к неизбывной мечте, — к Лермонтову. Уехала из Маркса и стала сотрудницей музея в Тарханах — дома, некогда принадлежавшего бабушке Лермонтова.

О том, что происходило в Марксе и в Тарханах, рассказывают письма.

Мать Людмилы Борисовны, жившая все это время в Марксе, тяжело заболела. Ее нельзя было больше оставлять одну. И Люсе с сыном пришлось вернуться в старый дом.

Работу ей предоставили, но такую, от которой другие испуганно отказывались — работу учителя-воспитателя в школе при колонии для малолетних преступников. Школе тюрьме. (Письма 34-48, повесть).

Март 1974 года. Людмила Борисовна умерла от кровоизлияния в мозг.

Мы убеждены, что эта болезнь стала непосредственной, но не случайной и не единственной причиной ее гибели.

То была трагическая гибель одинокой подвижницы. Несмотря на множество друзей, приятелей, добрых знакомых, любящих учеников она оставалась одинокой там, где начинался ее подвиг — отчаянный подвиг с бездушными силами зла и мрака.

Она была просветительницей в самом точном, первоначальном смысле этого слова. Для нее образование было неотделимо от нравственности. Ее уроки, беседы, книги, которые она разносила и развозила, становились источниками света, излучали добро и правду.

Людмила Магон — безвестная учительница из захолустья — живое олицетворение традиций русского просветительства, тех неиссякаемых традиций служения народу, которые сохранялись вопреки всем бедствиям, потрясениям, преследованиям.

Немало таких людей погибло — в тюрьмах, в лагерях, на войне, изглоданные нуждой, задушенные отчаянием, затравленные или спившиеся. Но их свет не угасал. Этот свет горел и в настольной лампе на маленьком письменном столе в заставленной книгами комнате в городке Марксе на Волге.

Люся была одинока еще и потому, что щедро одаряя всех вокруг знаниями, деятельной помощью, сердечным участием, она сама не получала взамен и малой доли душевного тепла.

Мать и сын очень ее любили, но именно поэтому ревниво требовали ее внимания, ее времени, ее помощи. И почти никогда не сознавали, как ей самой необходима помощь, как необходимо ей время, чтобы свободно думать, писать и как тягостно она устает...

Ее приемный сын был одним из немногих, кто это понимал, вернее чувствовал и пытался ей помогать. Но он принес ей только новое горе — трудное бремя матери арестанта и горькое сомнение в себе — как могла упустить, не заметить двойную жизнь ученика, ставшего сыном?

Ее письма отражают лишь малую часть испытанных страданий. При всем ее мужестве физическом и гражданском, при всей отваге, временами отчаянно лихой, мальчишески дерзкой, — она была нежной, милой женщиной, обделенной женским счастьем, потаенно грустной, мучительно угнетаемой сознанием незадавшейся жизни.

Она умерла, едва начав свою первую повесть. Но и в письмах она — одаренный литератор. Еще не созная по-настоящему свое дарование, она уже ему подвластна — живет в Слове.

Пусть это слово, запечатлевшее частицу ее души, ее чувства и мысли, продолжит подвиг Людмилы Магон — творить добро наперекор злу, нести свет вопреки мраку.

*Раиса Орлова
Лев Копелев*

2 декабря, 1968 г.

...сегодня вы уже в Москве, а я — за 100 км от Маркса, в одной из дальних своих школ вместе с товарищами-инспекторами. Ночуем в учительской. Оказывается, везде можно устроиться с комфортом, были бы походные навыки. Например, из одного дивана соорудить два спальных места. Мне досталась спинка, валик и одеяло; лежу, пишу и слушаю, как гудит печка. Наша комната — прибежище тепла и света. Стоит открыть дверь — и пронзает холодом коридор, из классов идет погребный дух. Все остывшее, холодное, безлюдное, а за школой — степь, ветер, мороз. Село расположено в стороне, школу же, как кладбище, вынесли на окраину. Даже вывеска траурная, черная. Стоит темнозеленое, вымороженного типа здание с черной доской, на которой красными письменами выведено „Октябрьская 8-летняя школа”.

Единственный наш инспектор — мужчина, скрепя сердце, ушел ночевать к директору, хотя ему приготовлено тоже было спальное место на столе. Мы уже состригли: „Где стол был яств, там Ларин спит”. Но выяснилось, что по здешним строгим нравам две женщины и один мужчина под одной кровлей несовместимы — завтра же напишут жалобу в облоно о падении нравов и разложении-инспекторах. Так что здесь первозданная крепость и чистота моральных устоев, не нам на них посягать.

Мы далеко не всегда столь изобретательны в ночлеге, чаще всего спим по квартирам учителей или в странноприемной комнате, которая учреждена во многих крупных совхозах для командировочных. Но это когда мы приезжаем сами, по своей воле. Сюда же нас срочно вызвали разбирать очередную кляузу, поэтому должны соблюдать нейтралитет. Весь коллектив — от технички до директора — расколот на две враждующие стороны. Пробыли полдня и вечер, слушали, ходили, смотрели, присутствовали на уроках. И к ночи сделались чумными. Голова кругом пошла от сплетен, грязи, обилия мелочей, обывательских дряг. Сюда надо не инспектора посылать, а индийского факира, который умеет огонь глотать и ходить босиком по битому стеклу. Или укротителей змей.

Ваш приезд, лекции, даже Саратов, отсюда кажутся чистой фантастикой.

Не было, ничего не было, кроме этого степного улуса, ветра, холода, захлавленной учительской, смыкающихся кругов лжи. Телевизионных антенн здесь больше, чем крыш; дома крепкие, хозяйства обхоженные, по дворам бегают тощие собаки. Люди сытые, но обличье человеческое имеют немногие.

...полдня я не знала, куда деваться от расстройства. Наконец делась

к бывшему своему ученику, участнику поездки в Рязань год тому назад. Он сейчас смертельно болен (саркома), московские медсестры определили ему срок жизни в 4 месяца, ему 20 лет, и он не догадывается пока о диагнозе. Отчиталась во всех двухнедельных последних впечатлениях как на духу. Порешили мы с ним вдумчиво перечитать Хемингуэя. С обменом впечатлениями. Я все придумываю, как дать ему дополнительный к уже имеющемуся заряд мужества, которое очень скоро ему понадобится в большом количестве. Отличный мальчишка, умница, мотоциклист, с синими-пресиними глазами и опухшим ресниц. Нас сблизил последний поход и его болезнь — она подкрадывалась давно.

Скоро праздники, съедутся все мои студенты-однопоходцы, встречу назначили у него.

Заканчиваю письмо в Марксе (3-е, ночь), а завтра мне снова надо проделать по вполне зимней дороге около 22-х км. На педсовет. Я рада, как всегда рада любой дороге.

2

15 декабря, 1968 г.

...эпистолярный жанр мне более или менее удастся, что же касается остального... Я свято верую в толстовское: надо писать, когда уже не можешь не писать. Отношение к печатному слову, несмотря на всяческую его профанацию, у меня благоговейное, как, например, к консерватории. Возможно, если на Борькино¹ счастье, я не сложу голову в какой-нибудь придорожной канаве, природное тяготение, подкрепленное жизненным опытом, запросится наружу. Препятствовать не стану, но не раньше, чем не прорвется произвольно, само по себе выкрепшее в сознании, чувствах; петь не своим голосом не хочется. Верно и другое: откладывать надолго нельзя — время уходит. Чем дальше, тем это острее ощущается. Но лучше быть автором одной-двух статей, одной книги или песни, чем плодить недоносков. Их и так хватает. Об откровенной халтуре не говорю — чисто гонорарные соображения меня никогда не одолевали...

Слава, известность, успех — внешнее выражение признания писателя, журналиста — мне и раньше, и теперь представляются тяжелой ношей, в которую попадают слабые. Этой стороне жизни талантливых людей никогда не завидовала. Той гласности, публичности, которая чаще всего им сопутствует. Мне кажутся эти „накладные расходы” больше опасностью, чем приманкой, или болезнью роста, детской болезнью. По-настоящему можно завидовать одному: тому счастью, которое испытывает автор за письменным столом, когда весь выложился, до точки, и что-то удалось. Нечего больше вычеркивать, ужимать. Все строго и стройно встало на единственное, свое место. Как в стихотворении. Это главное, остальное

п приложится. Конечно, интересно знать мнение людей близких, уважаемых, дорогих — его знать интересно и при обыкновенных обстоятельствах, не только в творчестве. Короче, я завидую полноте самоотдачи, самому процессу, а не результату. Знаю, так было у Гушина Николая Михайловича.² Пока он писал, для него весь мир сходил в одной картине. Последний взмах кисти, последний взгляд... Потом опустошенность, даже отчуждение — вроде бы картина отпочковалась и зажила самостоятельной жизнью. Потом почти равнодушие, отдаление и поглощенность новыми замыслами. „Из вен моих полых уходит..." Не хочу лезть на полку и сверять точно с Вознесенским, но смысл — точный.

Вот это, процесс творчества и предел его выражения, как предел максимальных возможностей, на которые способен человек, отдающий себя без остатка на выражение своего и общечеловеческого, и представляется мне счастьем. Не „представляется" (не знаю, почему прицепилось ко мне это слово), я уверена — это самая полная форма счастья. Полнее не бывает. Очень обрадовалась, когда встретила у И. Грековой в „Дамском мастере" ту же самую мысль, давно познанную мной в качестве аксиомы...

...Только в сказках от перемещения из кипятка в холодную воду молодеют и хорошеют, в жизни контрасты убивают.

Я еще пока жива, только заедает „текучка" — хроническая болезнь служащих людей. Побочное обстоятельство примешалось: в Маркс на 10 дней приехала бригада методистов-инспекторов из облоно и ИУУ.* Среди них моя добрая знакомая, кроме того, пользуясь случаем, спешу узнать новых людей из другого „ведомства", поэтому наступила полоса „приемов". Мои способности на хозяйственном поприще вы смогли оценить и за один вечер, но дело не в них. Уходит время — с другой стороны, без людей жить тоже невозможно. Писать ли, преподавать — все их знать нужно, интересно.

...пришло письмо от Юлиана Гр.³ Усталое и доброе он даже понимает, т.е. оправдывает, медленность моего продвижения по лермонтоведению, что оправдывать в принципе менее всего склонен.

...Полгода не ходила в школу, где преподавала в прошлом году, чтобы не встречаться с моими бывшими 9-тиклассниками, не бередить себе душу. Пришлось пойти с методистами. Они (ученики) меня „засекли", взяли в кольцо и потребовали объяснений, почему я их „бросила". Ссылки на занятость, какую-то свою работу для них абстракция. Я поняла, что совершила предательство. Особенно после слез одной девочки (тургеневская героиня или Татьяна Ларина и по внешности, и по задаткам). Но не слезы меня прошибли, а их готовность заниматься литературой даже в воскресенье. 10-классники ведь очень занятые люди. Короче, они меня уговорили вести факультатив по современной литературе (стихи и проза). Даже пиши я диссертацию, отказать им в приобщении к живому слову, я бы не смогла. Это к вопросу о бюджете времени. Одно

* Институт Усовершенствования Учителей

утешение — факультатив — до мая. Позже пойдет у них подготовка к экзаменам и волей-неволей придется поднажать на программу. Со временем хоть плачь.

Ваш совет вести записи пробуя осуществить.

Раиса Давыдовна, не сможете ли Вы мне сообщить что-нибудь о Грековой? Она меня очень занимает. Ее рассказы тщательно вылавливаю по журналам.

3

24 декабря, 1968 г.

В какой-то мере мои рассуждения о писательском бремени и яде славы навеяны Вашей трагикой гибели Идена.⁴ Вызваны на поверхность. Но так я думала давно уже сама. Только все вместе слилось с разговором о потенции писания (в любом жанре), и вдруг мне подумалось, что Вы сможете неверно понять мои отнюдь не новые для Вас, а, может быть, и наивные рассуждения как величайшую нескромность и претенциозность в плане переоцененных личных возможностей. Ради бога, не надо! Честное слово, я очень далека от такого ничем не подкрепленного на практике, гипертрофированного чувства и самооболащивания. Письма пишу чаще всего ночью, трезвым утренним взглядом не всегда успеваю окинуть написанное, поэтому иногда заносит в какую-нибудь риторическую пустошь.

Лучше я расскажу Вам о последней поездке в Саратов (в пятницу, 20-го). Дорогу съела оттепель, дождь и туман. Ехала я поздно вечером на попутной машине сначала одной, потом другой — с пересадкой, т.к. первая повернула обратно, не рассчитывая добраться до Энгельса по почти весенней распутице. Мне казалось, что время сэкономится передвижением ночью, суббота же останется „чистой” для саратовских нужд. Но попала в Саратов только во 2-ую субботнюю половину дня после необычных дорожных приключений. Шофер 2-ой машины оказался на редкость молчаливым, длинным, долговязым парнем с лицом украинского хлопца. Даже в кабине мощного ЗИЛа ему трудно было уместить ноги. То ли он выпил изрядно и онемел, то ли усталость его сморила или неопытность — трудно угадать, только машина выписывала немыслимые виражи и дважды разворачивалась в обратном направлении. С таким адским водителем я ехала впервые. Куда бы нас ни кидало, как бы ни разворачивало, он — ни слова. Я тоже молчу, потому, как сами понимаете, не до разговоров. Дорога — грязь и лед, вода и опять лед. Грейдер, середина — обледенелая горбушка. По краям насыпи глубокие кюветы. Иногда, параллельно, кусками прорезывается нижняя дорога, более благополучная колея с водой. Пока ехали, нас кидало сверху вниз и снова вверх на

фантастических режимах скорости. Машина шла загруженная какими-то железными бочками (в каждой по 400 кг весу), иначе бы мы давно слетели в тартарары. Пейзаж ночной невеселый: истерзанная дорога под фарами, тьма, телеграфные столбы и изредка брошенные по дороге, застрявшие в живописных позах лесовозы, грузовики, даже один автобус попался. Дважды мы повисали над обрывом, и я вдавливалась в спинку сиденья, представляя, как мы начнем кувыркаться, носом вперед. Скрипят тормоза, шофер молча оскалится — и вот мы тихонько ползем назад, чтобы через секунду ринуться снова куда-нибудь вбок на крутой поворот или подъем. Не шофер, а немая смерть. Любопытство и напряженность сменились безразличием, но предчувствие не обмануло: в полном молчании мы сверзились с грейдера в кювет. Загрело железо, все закрутилось в толчке, а потом наступила тишина, и невозможно было понять, как можно вылезти из кабины при таком неестественном положении тела: меня втиснуло в щель между рулем и лобовым стеклом, шофер оказался где-то внизу, причем до сих пор не пойму, как он сложился гармошкой при своей долготе. Отделались переживаниями и синяками. Когда вылезли как из люка — одна дверь оказалась наверху — я услышала впервые голос водителя. Он изъяснялся только матом. Потом 6 км пешком до ближайших огней, ночлег на ферме, казах с лошадей, потом снова машина, а я уже наверху, на каких-то неподъемных ящиках, примеривающаяся при очередном крене к прыжку, потом — Саратов. Сегодня я вернулась вполне бодро, нормально по нормально подмерзшей дороге. Пришла к выводу: падать с мотороллера или мотоцикла гораздо приятней и безопасней, чем вместе с машиной. Вот так дорога взбадривает и знакомит с новыми впечатлениями.

На этой неделе начну факультатив с 10-тиклассниками, чтобы не корили изменой. Прозу думаю взять малогабаритную по объему, чтобы читалась быстро: рассказ, очерк, небольшую повесть. Пока наметила таких авторов (из патриархов — Паустовский): Ю. Казаков, И. Грекова, Г. Владимов, В. Белов („За тремя волоками”), А. Битов, Алексин, С. Воронин, И. Велембовская, Ф. А. Вигдорова (статьи), И. Зверев. Может быть, некоторые рассказы Нагибина. Со стихами проще — разлитое море. Есть книги, есть пластинки.

Может быть, чего-нибудь присоветуете?

Хочется прежде всего воспитать полноценный читательский вкус и здоровое критическое чутье. На зарубежную не хватит замаха, времени. Из факультатива, наверное, как всегда, вырастет лит-но-музыкальный вечер — смотровой итог работы под занавес, в конце. Еще вечер в неделю оторвался, но тут уж куда не денешься.

14 января, 1969 г.

Не только Боря, но и я с интересом смотрели на виды Латвии, родины моих предков. Давно собираюсь в Прибалтику, есть родня, много раз звали. Не хватает лета для осуществления всех замыслов и планов.

Извините, что так запоздала с ответом. Новогодние получились бурными: приехала гостя из Саратова, которую я очень ждала. Это наш новый университетский философ и эстетик, она работает всего лишь третий год в Саратове, сибирячка. Необыкновенно интересный человек, студенты чрезвычайно любят ее лекции и кружковые занятия... Подружились мы как-то вдруг, сразу, с лета прошедшего года, хотя знакомы были значительно раньше.

Приехали студенты, бывшие ученики. Они привыкли вытаскивать меня к себе на все праздники или являться ко мне, поэтому волей-неволей пришлось познакомиться моим старым и новым друзьям. К величайшему моему удовлетворению они понравились друг другу. Да иначе и быть не могло: молодость всегда тянется к яркому, умному, интересному и распознает свои черты в любом обличи, поэтому возрастные различия давно стерлись в нашей дружной компании.

Сходили мы и к Муругову, нашему больному товарищу, о котором я как-то писала Раисе Давыдовне. Между прочим, расчет оправдался: у него действительно, хорошо пошел Хемингуэй и Д. Лондон. Книжку Раисы Давыдовны⁴ он прочел с большим удовольствием. Мы стараемся подбирать для чтения настоящие книги, подзарядить его мужеством, которое ему понадобится в немалом количестве. Вообще стараемся делать все возможное, чтобы он не чувствовал изоляции от жизни и дружеского круга.

Читала мерзопакостный журнал (№12)⁵ с разгромной статьей, направленной против Лит. наследства. Очень сожалею, что не имею соответствующих чинов, звания и военной специальности, чтобы выразить свой протест обоснованно, контрстатьей. Одни эмоции — на них далеко не уедешь.

17 января, 1969 г.

...К числу приятностей в первую очередь отношу и поездку в Саратов (неделю тому назад). Вырвалась в библиотеку и просидела там весь день, читала нужные статьи. К несчастью, библиотека и неразрывное

рабочее время — редкий праздник. Чаше всего время рваное, золотые утренние часы уходят на службу или какую-нибудь неожиданную пакость, вроде внеочередного совещания. И все мчится колесом. Хоть плачь или ищи нейтральную квартиру для занятий, где никто не отыщет. Что-то придется менять в корне в образе жизни, чтобы не оказаться к маю, когда я все-таки твердо рассчитываю побывать в Москве, несостоятельным должником.

Командировки в сельские школы по-прежнему снабжают отрицательными тяжелыми впечатлениями. „Пошлость пошлого человека” на каждом шагу. В школах кризис с кадрами, нет учителей. А аборигены-педагоги так уродливо выросли в быт, опростились, опустились — смотреть страшно. Жалко детей.

На учительской конференции мне пришлось выступить с сообщением по необъятной теме „О современной *новейшей* советской и зарубежной лит-ре”. Тему называю сокращенно, в полной формулировке она включала дополнительный акцент: как и что ученики-старшеклассники воспринимают из новейшей литературы. Чтобы полностью или хотя бы прилично справиться с этой разбухшей раблезианской темой, нужно было бы получить в свое распоряжение день целиком, а не полтора-два часа. Ломала голову, ища стержень, для объединения разнородного материала. Кажется, нашла, но говорить не хотелось — почти некому было слушать, хотя сидело много людей. И это на секции литераторов! Я бы с равным успехом могла говорить по-китайски. Дух равнодушия господствовал в аудитории. И тихо, и записывают, и поверхностный интерес, связанный с занимательностью сюжета, но взять по существу — не дано. Такое горестное чувство у меня не рождалось даже в профтехучилище перед совершенно дикой, необразованной публикой. Невосприимчивость по духу, полная глухота!

Мне очень понятна Ваша жажда слушателей, аудитории, но не дай Вам бог когда-нибудь таких убогих! Самые бездарные из учителей — словесники, убеждаюсь в этом все больше и больше. Самые интересные и отзывчивые — математики. По крайней мере в нашем районе именно такое соотношение сил.

Взяла злость и захотелось подразнить гусей. Когда-то пробным камнем, выявляющем людей и их взгляды, было имя Евтушенко. Теперь — другое. Я упомянула только один рассказ, опубликованный давно в „Новом мире”.⁶ Назвала фамилию (нужно было сделать переход к грековским интеллигентам), эта вольность не прошла бесследно. Да, большое Вам спасибо за справку о Грековой. Мне пригодилась она и на факультативе, если мне его разрешат вести. Пригодились и „Тарусские страницы”, ст. Ф. Вигдоровой о пустых и волшебных глазах. Когда я узнаю, какие книжки читаете Вы и Юлиан Григорьевич, разбирает добрая зависть — я их не читаю.

...не согласна с тем, что Алексин не интересен для юношества.

Последние его повести — „А тем временем где-то”, „Поздний ребенок”, „Мой брат играет на кларнете” и др. тонкие вещи в психологическом отношении, они многое дают. И у И. Велембовской в „Знамени” был отличный рассказ. Кажется, он называется „Ларион и Варвара”.

24 января, 1969 г.

Я пишу Вам как всегда ночью, в полном отчаянии от тщетности своих попыток что-то успеть сделать из намеченного на день, за неделю! В глазах моих сослуживцев я самый незанятый человек, т.к. у меня нет коровы, поросенка, мужа, огромной семьи, т.е. всего обременяющего бытовым домашним обслуживанием. Сын вышел из пеленок, а мама готовит обед. Книги и чтение, не говоря уже о большем, как-то не принимаются во внимание. О количестве посещающих меня лиц мало кто знает, и получается, что никакого минимума сна, отсутствия телевизионных утех и прочих общепринятых радостей жизни не хватает для удовлетворения самых насущных моих потребностей. Дремлю на совещаниях, умираю от желания спать на всяких официальных приемах в горкоме и горисполкоме, хожу с таким лицом, словно после болезней или непрерывных оргий, а времени нет и нет! Правда, третью неделю подряд езжу по субботам в Саратов, поэтому иллюзия свободных дней и вовсе исчезает. Но там я сижу в библиотеке (раз в неделю), читаю всякие интересные штучки (статьи) и вижу близких людей, и мне жалко тратить время на сон, и все это тоже нужно. Единственный реальный выход — перенагрузиться, вызвать гипертоническую реакцию и заболеть для бюллетеня дней на 4-5. Но сейчас болеет мама — воспаление легких — поэтому такой роскоши себе я позволить не могу.

Пожаловалась, и вроде легче стало. Теперь о прискорбном главном, ради чего я посылаю с okazji это письмо.

Я не хотела Вам писать с первых моментов тревоги. ...не знала, как это сделать — написать, потому что слышу постоянные упреки от друзей в неумении писать с конспирацией. Ю. Г. и тот категорически высказывался за обмен впечатлениями только о лит-ре XIX века. Короче, я боялась принести Вам дополнительные неприятности этим сообщением.

Все началось с дамы с тевтонским лицом. Той, кот-й нужно было удостовериться в преследованиях прогрессивных писателей за рубежом. Она — литератор по роду занятий, „дает” программу в старших классах шк. №5. Я — инспектор этой школы, т.е. лицо, постоянно угрожающее ей опасностью, упреками в непрофессионализме. Единственный способ обезвредить меня — в доказательстве моей антипартийности и идеологической растленности. Это возможная личная подоплека. Мы немного

поговорили с ней на тему, нужно ли сметь свое суждение иметь, и, конечно, каждый остался при своем мнении. Да я и не собиралась лично ее переубеждать. Неприятно подействовала ее уверенность в том, что Ал-др Исаевич не живет в Рязани. Ясно, что именно она хотела этим сказать, и еще яснее, что она с большим удовольствием сказала бы, что он вообще не живет — нигде. Не существует на свете. Это была первая схватка-вспышка. Потом она отправилась в Саратов на семинар секретарей школьных парторганизаций (она возглавляет коммунистов-учителей в своей школе). Там выступал секретарь обкома по идеологии, некто Черных, известный черносотенец, погромщик, фашист. Он говорил о борьбе идеологий и привел пример Солженицына в минусовой категории. Егорова сразу затрепыхалась и задала во всеуслышание вопрос: как ей, бедной, теперь быть? Приезжали ученые лекторы из Москвы, которые „восхваляли Солженицына”. Черных воспринял это заявление как ЧП, позвал ее к себе на беседу, облакал и взялся за общ-во „Знание”. Проверил путевки, потом позвонил в Марковский горком КПСС с требованием прислать письменную объяснительную-докладную. В Марксе по начальству пошел переполох. Отправились в шк. №6, где вы выступали, расспросили учителей, директора, завуча. Этот рейс совершал уже наш, марковский, секретарь по идеологии вместе с моим шефом (завгороно). К счастью, администрация школы — умные люди. Учителя, шеф, все в один голос дали отличные отзывы о лекциях. ...Шеф сам позвонил в общество и, с облегчением вздохнув, сообщил, что писать уже ничего не надо, дело обошлось разговором. Искренне огорчился, как бы не дошли слухи до Москвы и не имели бы вредных последствий для Вас.

30-го декабря я отправилась на педсовет в шк. №5, егоровскую школу, будь она неладна. Педсовет — „проблемный”. 1-ый вопрос — об идейном воспитании учащихся на уроках и внеклассных занятиях. Первое слово — Егоровой. Она сделала „шапку” о воспитательной работе вообще и в частности, потом, без всяких логических мостиков, сказала: „А теперь я буду говорить о Солженицыне”. Говорила она долго и подло. Суть свелась к тому, что „Один день...” — произведение, тлетворно влияющее на нашу молодежь. С. — писатель антипартийный, занимается очернительством нашей прекрасной советской действительности. Он нигде не работает (тунеядец!), живет на иждивении жены. Злопыхательствует. И прочее.

...После всех выступлений по воспитательной тематике взяла свое инспекторское слово я. Разумеется, начала не с Солженицына, а тоже с воспитательных проблем. Напомнила им Достоевского „Высокими словами каждое дело можно опошлить” и Ф. Вигдоровой: „Воспитывать надо правдой”. Всего не напишешь, даже рассказывать уже надоело. О Солженицыне — 1/3 моего выступления. Последняя. Говорила, что это писатель с мировой славой, и у нас рано или поздно его будут печатать, как перепечатали теперь „Не хлебом единым”. Говорила и впервые

познавала разъединяющую тишину и молчание минного поля. стыдно было смотреть в лица, смотрела поверх голов. Лиц не было — был страх. Потом реплики: „Если он не партиен в творчестве, то как он может быть талантлив?“ и „Пусть уезжает за границу, раз его там печатают“. А белокурая красавица, руководитель районного методобъединения литераторов, ...со смехом крикнула директору школы: „Не беспокойтесь, Иван Иванович, нас никакой Солженицын не перевоспитает“. Меня дополняла опять же Егорова. Сказала, что в Саратове „милиция выявила группу в 10 человек, распространяющие произведения Солженицына“.

Кстати, я говорила только о печатном. Сказала, что, к сожалению, остального не читала, поэтому не могу об этом судить.

После педсовета, о котором я доложились шефу, еще однажды упоминала о Солженицыне на учительской конференции в своем сообщении, о кот-м я уже Вам писала.

Очень невинно, вспомнив рассказ „Случай на станции Кречетовка“, в связи с грековскими интеллигентами.

Потом шефа приглашают в горком на собеседование с секретарем по идеологии, Егоровой и директором той самой школы, где происходил крамольный педсовет.

Наклеили мне там всяких этикеток, имеющих хождение в те баснословные годы, получилась из меня махровая контра. Поручили шефу строго-настрого меня предупредить и перевоспитать, иначе, если я буду вести себя так же, признать мое антипартийное поведение несовместимым с пребыванием на работе в качестве инспектора горно. Он поговорил, сообщил в райком, что меры приняты. А потом посетила его еще одна страховочная идея: провести собрание с обсуждением моего поведения. Но он ее не осуществил и, кажется, вовсе от нее отказался. Если внешнего толчка в усилении бдительности в идеологической борьбе не последует, то собрание и не состоится.

История мне эта надоела, обрыдла. Делают из мухи слона невесть зачем.

Сколько бумаги пришлось извести, чтобы пересказать ее!

7

12 февраля, 1969 г.

...само собой разумеется, что никаких сожалений, связанных с известными Вам событиями, точнее, разговорами, я не испытываю. Я не могла бы себя вести иначе, причем не вижу ничего особенного в такой линии поведения: естественная реакция человека в защиту любимого. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Вам известна конечная информация, можно поставить точку и не возвращаться к этой истории. Гусей

дразнить специально не собираюсь, но гагакать в унисон и идти за ними в фарватере — тоже. Это не похвальба (мой шеф говорит в таких случаях иначе: „не хорохорьтесь”), а определение позиций на будущее, если понадобится их определять (думаю, надеюсь — нет).

...Как я понимаю Ваши горести, особенно болезни близких! Я даже не знаю больших. Всегда самой легче переносить тяжелое, тем более болезнь. Терпение — главная добродетель для этого. Но в невозможности помочь при самой невероятной жажде активной помощи, включающей любые жертвы, есть что-то унижительное, рабская зависимость не от себя — от обстоятельств.

Завидую Вашему загородному образу жизни, возможности принадлежать себе и своей работе. Давно уже не знаю такой роскоши, т.к. к своим занятиям прорываюсь сквозь дремучие заросли чуждых, бюрократически-служебных, чиновных, бытовых дел и потерянного времени. Ощущение утраты невозвратимого не оставляет, когда думаю, из каких слагаемых состоит мой суточный рацион (в духовном отношении). Немного успокаивает факультатив, молодые, думающие, ищущие глаза. И резкие погружения в XIX век, в мир совершенно иных моральных, духовных ценностей, других измерений жизни. Поражает накал мыслей, цветение личностей, разнообразие их. Конечно, в обществе классиков жить несравненно приятнее, чем в реальном окружении.

Пора природных радостей еще не наступила: нет дороги, мотоцикла, реки. В лес на лыжах не пускают морозы.

8

6 марта, 1969 г.

Как крутит щепку мутный ручей в половодье, так меня закрутила текучка и разного рода неурядицы.

Очень беспокоит затянувшаяся болезнь Юлиана Григорьевича, моментами откровенно страшно за него: родственники и сверстники его редуют, словно их вырубает, и просека подходит все ближе. Слишком много стало вокруг него оголенного пространства, слишком многие, которых он хорошо знал, любил, помнил, ушли навсегда. Даже по его короткому письму видно, какие грустные мысли его осаждают и как он, черезчур уж трезво, рассматривает свои рабочие возможности. Точнее — пределы.

Читаю более или менее целно только в Саратове, да и то литературоведческое. В Марксе время по-прежнему растекается и дробится. В городе и поездках по району, сельским школам, я узнаю людей, но большая часть из них сделана на одну колодку. Поражает стандартизация быта, жизни, интересов. Каждый сидит в своей ячейке и не может из нее вылезти. Все ограничивает: воспитание, рабочая колея, недоразвитость

личности и скудные ее потребности (духовные). Желудочный азарт, материальные ценности, деспотизм моды — уродливое выражение даже благороднейших инстинктов — материнских, например. Опять одно и то же, — чтоб дитя сыто и одето было в первую очередь, чтобы легче ему пришлось на черном свете. Я вижу жизнь большинства, и если бы не знала людей другой породы, стала бы совершеннейшим мизантропом.

...нашего секретаря по общ-ву „Знание” вчера, на совещании в Саратове, заставили писать объяснительную записку по поводу известного Вам ответа на вопросы. Все совещались, а он в отдельном кабинете писал. Что — бог весть. Мы думали, что отговорились по телефону, разумные объяснения изустно дали — не тут-то было. Ничто не забыто, никто не забыт. Трагикомедия, чистая мистика — так я воспринимаю эту историю, настолько не могу поверить в реальность такого подлого безобразия.

В тот же день со мной произошло глупейшее приключение, которое в конечном счете накрутилось на стержень саратовских объяснений.

Попросила я свою бывшую ученицу, библиотекаря нашего Дома учителя, поискать мне одну книгу,⁷ весьма ценимую мною, но зачитанную нагло недавно. Зачитанную из моей библиотеки. В Доме учителя книжка не нашлась, но, желая сделать мне любезность, она достала мне ее в детской библиотеке. Изданная в „Роман-газете”, с 63-го года она пролежала почти без употребления 6 лет. Желая меня обрадовать, милая девушка позвонила по телефону о своей находке и о том, что она поступает в полное мое распоряжение (стоимость 12 копеек, спроса на нее у читателей — никакого). Фамилию автора услышала завдетсадом, сотрудница гороно. Шефа моего, на беду, унесло в село, поэтому бдительный товарищ позвонил прямиком в другую организацию, и колесо закрутилось с неслыханной быстротой. Вчера душеспасительную беседу вел со мной наш гороновский начальственный „треугольник”. Я получила второе предупреждение, самое строжайшее. Книгу приказано вернуть, иначе лица, кот-м я „дала задание”, будут наказаны. Вначале я была ошеломлена дикостью и глупостью предъявленных обвинений. Попросить книгу — это значит „дать задание”. „А почему Вы сами не пошли? А дали поручение сотруднику ДРП? Вы — лицо официальное, инспектор...” И пошло, и поехало! Потом я страшно разозлилась. Сказала, что официальных запретов на книгу никто не накладывал, в свое время ее выдвигали на Ленинскую примечу, что это местничество и дикое самоуправство.

В связи с женским праздником мне дали передых, но к разговору этому, видимо, вернуться... И смех, и грех.

Каждый боится потерять свою кормушку, хотела бы я понять психологию ретивых людей. Завдетсадом когда-то успешно разговаривала детдом, занимая пост директора его. Я с ней не раз в прошлом сражалась,

отстаивая интересы своих учениц, ее воспитаниц. Теперь представилась возможность свести счеты на высоком идейном уровне (она дослужилась до секретарей).

Вспоминается мне давняя мечта походить сезон на речном судне (раз уж нельзя на морском), пожить на волжском просторе на какой-нибудь медленно плывущей барже. Почти каждую весну в областной газете объявляют о наборе матросов на нефтеналивные суда. Суда эти большие, белые, даже не верится, что они имеют отношение к черному золоту. Почему бы мне не стать матросом? Я видела пожилых женщин-матросов на волжских пароходах. У них бравый вид. Вахту отстоял — и читай, сколько хочешь. Эйнштейн утверждал, что если человек задался целью написать что-нибудь серьезное, значительное, он должен стать пожарником или смотрителем маяка.

Я думаю, нефтеналивное судно в большей степени располагает к „чистому золоту созерцания”, чем служба чиновника. Даже с радостью думаю о возможности перемены и новизне впечатлений. Иногда надо, чтобы человека вышибало из привычной колеи, коли уж характера не хватает самому шагнуть в сторону..

Честное слово, я не рисуюсь и не оригинальничаю. В свое время, до Борьки, поступала на „Славу” (китобойную флотилию). Не взяли из-за сломанной ноги.

9

24 марта, 1969 г.

Вся эта неделя — авральная, сверхскоростная: семинар директоров, райсмотр художественной самодеятельности (я — председатель жюри), проверка ШРМ.* Все это сконцентрировалось в одну шестидневку, поэтому домой я практически попадаю поздним вечером и вынуждена заниматься чем-нибудь должностным, обязательным.

...я уверена, что когда автор тужится, эти следы насилия видны даже неискушенным глазом. Помню, давно еще, читая книжку Новикова „Пушкин в изгнании”, я все время ощущала авторскую скованность, рабскую зависимость от документов, художническую робость. Может быть, я не права, но мне кажется, что любой читатель со стажем очень чувствует соотнесенность писателя с темой, материалом, соразмерность (или несоразмерность) двух сил, из которых часто вырастает неравенство.

Буря в стакане воды улеглась. Не знаю, надолго ли. Я прониклась полным равнодушием к разного рода внушениям и наставлениям, которыми меня время от времени потчуют. Особенно после декабрьской книжки „Нового мира”. Не перестаю восхищаться журналом, его жизнестойкостью и принципиальностью. Просто чудо как хорош! Зато лит-е газеты

* Школа Рабочей Молодежи

17 апреля, 1969 г.

Невероятно, но факт: 26-го я выезжаю в Москву. Понятно, напряжение не покидает: вдруг объявят серию субботников или воскресников? Оползень служебных дел, какое-нибудь „ЧП” по линии облоно или вышестоящих местных организаций... Боюсь внеочередной неприятности, которая может свалиться в виде неожиданных поручений в отведенные на поездку считанные и пересчитанные дни. Билет взят на „туда и обратно” — 3-го возвращаюсь. Буду жить на городской квартире Оксманов, которые успели выехать в Болшево.

В Марксе все спокойно, моей персоной никто, слава богу, не интересуется.

Очень боюсь деловых разговоров с Юлианом Григорьевичем. Видит бог, элементарная лень — чувство, утраченное с детством, но успела прочесть очень мало. Забывает быт и распорядок дня, ночей не хватает ни на книги, ни на сон. Но это — старая болезнь.

Езжу по школам (пока еще на машине), провожу педсоветы и пропагандирую среди учителей (литераторов, в основном) повесть Каверина „Школьный спектакль”. Среди учителей она вызывает противоречивые суждения, и большинство ее не приемлет. А мне она кажется замечательной. Не понимаю, почему Д. Гранин отнес ее к разряду „необязательных вещей, какие могли появиться, а могли и не появиться”. И как раз мыслей-то она возбуждает много.

Кроме „Нового мира”, читаю буквально считанные книжки и себе вовсе не принадлежу. Радует весна, и тепло, и те оживающие просторы, которые открываются в поездках по степным школам. В полях благостно, как после уборки, когда остается одно жнивье и тишина. Самые лучшие дни, часы и минуты жизни люди проводят в прокуренных помещениях, в бестолковых распрах, в идиотских делах (круг наблюдений — учрежденческий). Рыбаки, пастухи, звероловы и прочие природные люди еще не утратили вкуса к настоящим природным радостям, к жизни. Чем больше вглядываюсь в окружающее, тем более оно кажется ненастоящим, иммитацией жизни, грубой подделкой. Только смотрела итальянский фильм „Затворник из Альтоны”. Антифашистский, с великолепной игрой, но по сценарию несколько странный. Не столько интересен фильм (с психологическими передержками), сколько реакция зрителей. Бесподобна Софи Лорен и рисунки на стенах подвала, куда укрылся на много лет полубезумный фашист, сделавшийся им вроде бы случайно. Его память — возмездие. Бред и рисунки с изображением замученных жертв необычайно выразительны, а в зале шум, некоторые уходят и слышны реплики,

что спать хочется. Страшны плоды бездуховной жизни, механической, страшны инерция и равнодушие, умственная лень, какие-то застойные явления нравственного порядка. На этой почве можно посеять любое злодеяние.

...педагогическим делом надо заниматься, причем всерьез. Вообще просветительством. Только не так казенно, бездарно, как в большинстве школ.

11

6 июня, 1969 г.

Когда я, вернувшись из Москвы, „плюхнулась в свою стихию”, я была, естественно, в состоянии неполноценности. Потребовалось какое-то время для „переваривания”. Все естественные процессы порождают иллюзию естественности. Мне казалось, что это как-то самой собой разумеется: понятна моя молчаливая сосредоточенность на пережитом, узнанном. А потом вступила в действие машина времени: „все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом”. Машина сработала энергично: я опомниться не успела, как прошел веселый месяц май.

...Юлиан Григорьевич, получивший от меня два пустейших письма, не мог Вам обо мне, с его точки зрения, сообщить свежие новости: он всегда находит, что я пишу мало и редко. И отчасти в этом прав.

До последних дней я тихо-мирно занималась своей инспекторской заботой: ездила по школам, наслаждалась движением, одиночеством на мотоцикле и полями, дорогой. Впервые за много лет (уже 15!) я не сдавала экзамена, т.е. не имела выпускного класса. И, попав случайно в одну 8-летку (маршрут пролегал по начальным школам), я с особой остротой поняла: учитель без учеников — это также ненормально, как писатель без читателей или кормящая мать без ребенка. Я не только поняла, а ощутила эту простую истину всем естеством, потому что очутилась в восьмом классе и стихийно провела с ними консультацию по литературе, хотя они загодя пришли на математику. Удержаться было нельзя: „Евгений О. — бульварный малый”, а Гоголь — такой же „мертвый”, как его мертвые души, и некому сделать их живыми. Тоска по аудитории, знакомая Вам и Льву Зиновьевичу, это и есть тоска по ученикам, точнее — последователям, единоверцам.

Позже сидела на чужих экзаменах и мысленно корректировала их, но от учеников невозможно взять больше, чем от учителя: потолок проглядывал везде, только на разном уровне. Отраду составляли исключения: „отличные” и „хорошие” ребячьи ответы, вопреки потолочным данным обучающего. Ей богу, я не преувеличиваю! На свое сословие клеветать было бы грешно.

Кстати о клевете. Кроме классической, оперной, я постигаю ее величие в натуральном виде в наши дни. В этом году Марксу везет на громкие истории. В ШРМ, где работает 8 лет самый знающий и действительно любящий литературу преподаватель, моя приятельница Генриетта Натановна (Рожкова по мужу), приехал спецкорреспондент „Учительской газеты” Ирина Брониславовна Никитина, нежная обаятельная блондинка с вкрадчивыми манерами и инквизиторской устремленностью. Она, не отходя ни шагу прочь, вместе с учительницей проверила все 60 работ выпускников, настаивала на выставлении 15 двоек, но комиссия и вызванный по ЧП инспектор ОБЛОНО согласились только на пять, после чего сделала вывод об очковтирательстве и плохой работе преподавателя литературы, причем за три дня совместной проверки она чуть не замертво уложила Генриетту, Соснера (завгороно, мой шеф) и посеяла страх и ужас среди других школ г. Маркса. Таких корреспондентов свет не видел, тем более заштатный городишко Маркс. У большинства нашей публики представление о деятельности печати сложилось идеальное – по „Журналисту”, отнюдь не по „Блеску и нищете куртизанок” и „Утраченным иллюзиям” Бальзака. Соснер, я – в качестве инспектора, певшего дифирамбы очковтирательнице, – Генриетта, главное страдальческое лицо, и еще одна учительница, у нее тоже выпускники в ШРМ, Лия Исаковна, из которой завтра будет бифштекс (пишут восьмые) выходим на всероссийскую дорогу известности: обещана разгромная статья в „Учительской”.

Спецкор приехала по жалобе, как она выразилась, „честного человека”. Фамилия этого правдолюбца тщательно скрывается, но по почерку угадывается Егорова. Та самая. Она нашла единомышленников из ШРМ, которые завидовали безупречной учительской репутации Генриетты и ее успеху у ребят (рабочих, взрослых в ШРМ мало. В основном отсеб образовательных школ). Жалобой наносят удар по всей „сионистской клике” – именно такой характер она имеет. Любопытную фигуру представляет собой спецкор. До какой степени протей – трудно вообразить. Заданность ее расследований, чудовищная предвзятость, шпильки – ядовитые как укусы змеи. Есть в ней большая личная озлобленность, словно у неудачника, хотя по всем внешним приметам она человек благополучный. У меня сложилось впечатление, что талантливость ее раздражает в принципе и является врагом №1. С Генриеттой, работу которой она так безоговорочно осудила, сопрягали именно это, ненавистное ей качество человеческой личности. Мне кажется, она потерпела поражение или на писательском поприще, или на преподавательском. Интересно, можно ли найти управу на корреспондентский произвол? Судя по набору штампов, которыми она оперирует, чувствует она себя бесстрашно, за высокой стеной. Люди, ошельмованные ею, далеко не крепкого здоровья. Человек пять после ее отъезда слягут, ей бы это импонировало чрезвычайно. Хорошие учителя редко здоровы. Среди ее жертв – сердечники, гипертоники, у Генриетты не вполне погашенное ТБЦ.

• Ломаем головы над исконным русским вопросом „что делать?“
Генриетту давать в обиду нельзя. Если бы не она, меня история эта гораздо меньше бы интересовала.

12

8 июня 1969 г.

Увидела на столе фирменный конверт — „Лит-ра в школе"... Журнал давно мне нравится многими статьями, и я буду крайне обязана Вам и Янине Георгиевне,⁸ если смогу хоть кроху добавить к тому полезному, что публикует журнал.

Теперь о предыдущем моем письме. Надо Вам сообщать о всяких животрепещущих впечатлениях не по горячим следам, а слегка охолонув, через интервал. Я боюсь, что добавляю Вам тревоги. История эта закончилась, статья обещана, проспект ее доложен шефу (рассказан). Страдательное лицо — Генриетта Натановна, с глухой ссылкой на покровительственное гороно. Меня такой вариант не устраивает (устроить кровопролитие с Лией Исаковной, 2-ой преподавательницей, не удалось. Ее с трудом, но спасли, не без благословения тайного облоно). Буду писать в „Правду", хотя писать строго фактологически, сухо и безэмоционально плохо умею. Совсем не умею. Но возражать вроде бы больше некому. Так что простора для писучести хватает, правда, не в обычном жанре.

Очень меня беспокоит состояние Юлиана Григорьевича. Высокое давление, постельный режим и в перспективе больница — все это приводит в трепет и уныние. Я написала ему чуть раньше, чем Вам, и буду днями писать или звонить снова.

Вспоминаю часто московские дни... много печальных дум о трагическом положении срединной интеллигенции, особенно сельской. Не знаю, насколько точен изобретенный термин, но Вы поймете. Трагизм в разрыве между вершиной и основанием и какой-то промежуточной, срединной прослойкой: учителя, врачи, юристы (они особенно жалки). Трагизм в сознании своего положения и непонимании, неосознанности его тоже.

13

23 июня, 1969 г.

Дома ждало письмо от Янины Георгиевны, подтверждающее предложение писать статью о факультативе по советской поэзии (12-14

листов на машинке). Обрадовало и конкретное предложение, и тот факт, что письмо мое в редакцию, весьма пространное, было понято правильно, т.е. можно его рассматривать как информацию о направлении работы, причем направление приемлемое, заслуживающее интереса. А то я уже начала побаиваться, не слишком ли оно дикораспахнутое, наивное. Не умею совершенно писать официально, укладываясь в берега, чему давно пора научиться. Даже из решений горсовета и прочих весьма официальных бумаг, написанных моей рукой, ухитряются „выкорчевывать эмоции и лирику”, которые, с моей точки зрения, там и не ночевали. На языке моего „верхнего” (горсоветовского) начальства нет слов браннее для лица чиновного, призванного писать ответственные деловые бумаги. Свидетельством полной безответственности в этом плане служит, вероятно, и мое письмо в „Правду” — реакция, хотя порядком запоздалая, на поведение спецкора в Марксе. Копию я Вам посылаю... Шеф и почти все гороновские меня осудили, т.к. бояться новой грозы. Писала же я с главной целью такой: пусть два голоса, но прозвучат в защиту хорошей учительницы, для ее нормального самочувствия это необходимо. В какую-то иную действенность своего послания в редакцию я не верю. Завоблоно в разговоре с шефом высказала мысль, поражающую стариной, обветшалостью: задета одна учительница, она как-нибудь переживет. Единица — вздор, единица — ноль.⁹ А вот если снова приедут, да станут копать, так пострадает весь отдел, а, может быть, и область.

Страдания административных территориальных делений меня мало трогают, гораздо больше — Генриетта Натановна. Ей эта история дорого обошлась. Даже на итоговом педсовете в школе дирекция, отмечая общую нервозность на экзаменах, проявившуюся с первого экзамена (сочинение), вынуждена была признать заслуги учительницы и не могла в ее адрес сделать ни малейшего упрека. Но злопыхательство из-за угла продолжается.

...Я третий день в отпуске. Жалею каждую минуту, если она уводит в сторону от письменного стола и книг. Чахну, как Кощей над золотом, над своей свободой и готова замуроваться в каком-нибудь книжном подвале. Юлиан Григорьевич торопит с приездом, волнует своими болезнями, но я не могу к нему явиться с пустой головой. Со 2-3 июля определила Бориса в лагерь и мертвой хваткой берусь за недочитанное. Думаю до Москвы написать в „Лит-ру в школе”. Это проще. В Москву предполагаю отбыть после 10-го, в первой половине июня. Сейчас сижу в комнате Альбины Степановны, улетевшей на конференцию в Томск, и счастлива своим одиночеством. Ничего не хочу другого: читать и писать. Единственная роскошь, какую могу себе позволить, — поездка в Москву на мотоцикле. И то, если Юлиан Григорьевич не запротестует в категорической форме.

28 августа, 1969 г.

Еще так свежа московская жизнь в памяти, давление же реальности марковского уклада службы и быта, делают ее отчетливо нереальной, чем-то вроде мифа или сна. Вообще-то контрасты хороши: они помогают выявить сущность вещей, людей, событий, постигать простые вечные истины.

После нескольких лет перерыва попала на учительскую конференцию. Всегда старалась подогнать отпуск впритык к 1 сентября, чтобы избежать травматических впечатлений от такого количества учителей. Это вроде коллективного портрета, у которого одно лицо. Безликость ведения конференции, полное отсутствие живого элемента, хотя бы делового заинтересованного разговора о нуждах школы, учительства, делают ее до неправдоподобия пародийной. Зал жужжит свое, трибуна вещает свое. Те и другие, не будь привычки к пустому кружению слова и высокой биологической приспособляемости (организмов к окружающей среде), трибуна и зал, должны были зачахнуть от тоски и скуки безысходной. Но пустота стала уже ритуальной, — привычной окостенелостью ракообразных.

На секции мне поручили сообщение — „О новинках советской лит-ы”. Новинки в основном из „Нового мира”, кроме того, Шукшин, В. Белов, Н. Тарасенкова, А. Битов. Информацию я сделала, весь же упор — на „Школьный спектакль” и „Собеседник” Каверина. Отсутствовали те два-три лица, для которых хочется говорить. И осталось странное ощущение аквариума: все видят, слушают, даже записывают, и соучастия нет. Телеконтакты — как в романе Азимова „Обнаженное солнце” у солярианитов. Никакого личного общения. Вспомнился мне наш разговор последний на даче о школьных сочинениях. Вот отсюда и происходит обвалакивание серостью.

Серость рождает серость.

Я Вам пишу на Волге после работы. Закаты здесь удивительные, прекрасные, могут соревноваться с настоящими степными. Напротив обширного дикого пляжа, где я расположилась сейчас, через полуторакилометровую в сечении Волгу, — гора „Три братца”. Не гора, а крутые с перепадами холмы. Прямо в солнечном столбе — черный бакен. Дальше Волга еще расширяется, рассекается на два рукава большим зеленым островом. За спиной у меня тополи, ветлы, малая речушка. Сюда я приезжаю каждое утро до работы и каждый вечер после — на свидание с закатами. Это и есть мой настоящий отдых.

Борису повезло: пристроился к одному студенту с лодкой, весь обуглился и засыпает на ходу к ночи от обилия волжских впечатлений и ощущений. Мы до беспамятства любим плавать. Я наверстываю

упущенное за лето. Жара стоит упоительная — 30, 35°.

Меня оставили на работе совершенно официально. По совместительству взяла 9, 10 классы в заочной школе (два вечера в неделю, 6 часов).

15

25 декабря, 1969 г.

Публика саратовская (широкие круги) настроена нервозно. В Марксе все тихо. У меня на работе никаких перемен...

Спасибо за сообщение о „Семье и школе”. Я давно присматриваюсь к этому журналу и успела почувствовать его направление. О теме подумаю...

Статью Янине Георгиевне с доступными мне исправлениями давно отослала. С некоторым беспокойством жду вестей из редакции. Думаю, что в начале января что-нибудь получу.

Беспокоит чрезвычайно состояние Юлиана Григорьевича. Недели три как он в академическом стационаре. Звоню по вторникам в Москву, узнаю от Антонины Петровны, как его лечат. Она, по обыкновению, держится молодцом. К 12 числу (день рождения) его обещают отпустить домой. До больницы Юлиан Григорьевич тяжело болел дома: к диабету присоединились гипертонические кризы, упадок сердечной деятельности. Психологически его доконала смерть Корнея Ивановича.¹⁰

20-го саратовский филиал отмечал 60-летие СТУ, свое собственное и юбилей Е. И. Покусаева. Последний выступил с такой хвалебной одой, такой современной идилией, что сразу же стало ясно, насколько братьям филологам скучно и грустно жить. Считается, что таким образом Евграф подпирает филфак своими несокрушимыми плечами.

Страшно тягостное впечатление произвел заговор молчания вокруг имени Ю. Г. Оксмана. Воистину заговор равнодушных. Словно бы его пребывание в Саратове не составило эпоху в жизни филфака, словно бы не имена Оксмана и Скафтымова означали его расцвет, словно не они положили начало доброкачественной научной выучке, научной школе филфака, которой он славился в недавнем прошлом.

Вся дипломатическая эквилибристика Покусаева не идет ни в какое сравнение с парением мысли настоящих ученых. От юбилея пахло панихидой. И духом худших времен. Когда-то Александр Павлович обозвал всех лакеями. И он был прав. Все притихли, прищипились, прижухли, каждый прячется в свою норку и выставляет оттуда длинные усики-локаторы, и все живут в рассуждении, как бы чего не вышло. Я пыталась все же официально оформить свое прикрепление к русской кафедре. Пришлось отложить его до весны (с условием, что к весне представлю реферат по теме кандидатской диссертации).

Декан (С. А. Бах) обещала взять меня на подготовительные курсы в качестве преподавателя, если они, в соответствии с новым положением о курсах, откроются с нового учебного года.

У меня появился второй сын, вполне взрослый: ему 21 год. Володя Загреба, мой бывший воспитанник в колонии. С 4-х лет он был брошен родителями и, в итоге общественного воспитания (дом ребенка-детдом-интернат), попал в детскую трудовую колонию. Пока он учился в техникум и после окончания его, связь между нами держалась: изредка он приезжал на каникулярные, праздничные дни в Маркс, ко мне. Теперь, после четырех лет работы, решил перебраться в Маркс насовсем. Естественно, приехал к нам. Борька мой очень рад, т.к. помнит его с самых детских времен. Володя — хороший, деятельно-добрый и чистый мальчик. Кроме своих тракторов, любит радиотехнику, мотоциклы, детей. Не курит и абсолютно не пьет. Занимается спортом. Для меня загадка, как в этой среде, самой грубой, темной, необразованной, где прошли его детство и юность, он сумел сохранить противодействие окружающим густо, как лес, порокам. По-моему, теперь ему ничего не страшно.

У него непреодолимая тяга к семье, близким, людям.

16

5 февраля, 1970 г.

...„неделя как неделя”¹. Трагизм будней, мелочей жизни складывается именно из таких недель. Невольно наворачивается привычное блоковское: „День проходил, как всегда, в сумасшествии тихом. Все говорили кругом о болезнях, врачах, лекарствах”. К несчастью, вторая часть цитаты, обычно опускаемая, отражает мой последний месяц жизни в Новом году среди близких. 70-й начался шквалом болезней и смертей: в Марксе, Саратове, Москве. Умер удивительный человек — Валерка. Рак его съел. Умер мужественно, по-солдатски, хотя болезнь приблизила его к детству. 21 год жизни с вычетом 4-х с половиной лет болезни. Даже безнадежно больной, искалеченный болезнью, он, оказывается, был необходим большому числу живущих.

У Альбины Степановны приехавшая из Омска мама (для обихаживания занятой на сессии дочки) получила внезапно инсульт и очутилась в тяжелейшем, почти безнадежном состоянии. Весь январь прошел в напряжении и страхах. Кажется, непосредственная опасность миновала.

Юлиану Григорьевичу тоже легче. В воскресенье я разговаривала с ним по телефону и обрадовалась его бодрому, крепкому тону. Он доволен юбилеем, снова полон замыслами и рабочим настроением. Зовет в Москву. В этом году я, вероятно, возьму отпуск пораньше. С таким расчетом, чтобы больше в гору не возвращаться. Больше заниматься

бессмысленным делом нельзя, весь первоначальный интерес, который имела для меня эта работа, исчерпан.

Единственное, что я успеваю — еле-еле по ночам просматривать журналы, подчитывать „Новый мир”. Конечно, читала великолепную статью Шрейдера и все остальное. Если „Н. мир” не читать, то что еще можно читать, кроме классики? Интересным показался мне 1-ый номер „Воплей” с ахматовскими заметками о Пушкине, кое-что в последних номерах „Иностранки”,

В Марксе свирепствует грипп, вслед за Саратовым. В Саратове в школах карантин, у нас в трех — тоже, хотя по сведениям санэпидстанции эпидемии нет. А врачей не хватает, сестры сбились с ног: по три дня на вызовы не приходят, больница попросила дать дополнительный транспорт. Оказывается, если в бюллетенях писать не респираторное острое заболевание или катар острых дыхательных путей, то заест отчетность. И вообще район, охваченный эпидемией, на плохом счету. Поэтому гриппа официально нет. Все игры взрослых людей, дни нашей жизни заполнены ими до отказа.

Год рабочий необычайно длинный и без событий: нет школы (заочная не в счет), нет факультатива. Крохотный курсик психологии, который я брала из-за иллюзорной надежды на любознательность взрослых людей, давно закончился, не принеся ни капли удовлетворения. В район ехать уже не интересно: учителя знакомы, их возможности хорошо известны. Пожалуй, провинциальную жизнь, сельскую школу я знаю теперь неплохо.

Читаю поздно открытого для себя Тенниси Уильямса („Стеклянный зверинец”) с ... жаждой удовлетворения, с таким чувством, точно давно не хватало именно этого, а не какого-нибудь другого писателя, драматурга. Он современен в наилучшем понимании этого слова и очень мне близок. Еще одним „своим” в литературе больше, мне повезло. Вообще же американскую литературу я знаю плохо, на уровне ощущения, и поэтому меня лично, эгоистически радует Ваша будущая книга о ней.

В первом номере „Дружбы народов” появилась статья Вл. Борщукова об изучении советской литературы в современной зарубежной советологии. У меня к этому журналу проявился интерес после „Полудня” И. Мереса с его бесподобными иллюстрациями, но из статьи почти ничего не удалось выкопать: норма бесцветности. Даже как фальшивка не представляет интереса.

Володя мой ходит в заочную школу, захвачен учебой. Продолжаю по-доброму удивляться стойкости положительного в характере, вообще весь надежный, хороший, доверчивый... Трудно поверить в реальность его биографии. Упорно во всех официальных представительствах (на работе) именуется себя Магоном. Жаль не могу обеспечить ему действительно дружную семью, в которой он так нуждается.

26 марта, 1970 г.

Мне, конечно, дороги Ваши мысли об учительстве в узком и широком смысле слова). Я рада была найти их именно у Вас, потому что давно определила настоящих учителей в разряд делателей, считая учительство такой же корневой профессией, как земледелие, лесоводство, врачевание и т.д. Вот бы и заниматься основным делом, а я все никак не выберусь из боковых троп (это так, между прочим).

„Читательские курсы“^{1,2} по моему, очень нужная рубрика... конечно же, Вы не ограничитесь одним открытием ее. Это, насколько помнится, любимая каверинская тема: воспитание читателя, образование читательского вкуса. У меня после его „Собеседников“ отложилось даже так: литература начинается не с писателя, а с читателя. Может быть, черезчур резко. В школе с этим дело обстоит из рук вон плохо. По существу, так называемым внеклассным чтением никто не руководит, т.к. учителя сами мало и плохо читают, школы не выписывают журналов, библиотеки имеют нищенские. Учителя тоже не имеют личных библиотек (особенно сельские), а если некоторые и собирают книги, это больше для декора. Чеховский Никитин все казнил непрочтением Лессинга, у нас не знают этих мук и пожинают плоды полуобразованности. Живые, конечно, знают и рвутся, чтобы восполнить пробелы, но это почти титановы муки. Библиотечные нормы — недостижимая мечта. У меня свобода в этом варианте ассоциируется с болезнью, не слишком мучительной, оставляющей возможность читать.

Все последнее время с Юлианом Григорьевичем поддерживаю телефонную связь. Ему трудно писать, даже диктовать. Он проделал после болезни колоссальную работу: Добролюбов, „Преступление и наказание“, „Анна Каренина“.

Раиса Азарьевна их видела и говорит, что оба страшно исхудали, поддались. Но Юлиан Григорьевич бодр, юбилей его вдохновил, он полон замыслов.

Славянофилы давно меня... интересуют, особенно Киреевский и Хомяков.

12 октября, 1970 г.

Такой затяжной кризис в переписке у меня впервые. Вызван он обилием гостей, наезжающих в музей, и особыми обстоятельствами моей жизни в последний месяц: постоянно что-нибудь траурное происходит.

В Тарханах настоящая деревенская осень, причем очень отличающаяся от городской и саратовской: такого обилия черного цвета я не припомню. Еще по суху меня поражали черноземные распаханые поля по обеим сторонам дороги, распластанная чернота. И тучи здесь клубятся воронье, и мрак по ночам необыкновенный: в селе не единого фонаря. Говорят, сняли на тока, а потом за ненадобностью вообще упразднили. Дожди, ветер, холод здесь уже давно. Климат гораздо суровее, несмотря на ничтожное расстояние от Саратова: 300 с небольшим километров.

Зато иногда прорывается голубизна, солнце и парк становится невыносимо прекрасным. Или выпадает серенький тихий денек с перемежающимся теплым (сравнительно) дождем, с благоухающей влажностью, когда каждая мокрая ветка, трава, листья, кора пахнут по-своему; в воздухе висит капельная сырость, с прудов тянет холодом и туманом. Гуси, утки, индюшки важно стаями прогуливаются или охорашиваются в воде. Петухи поют круглосуточно. Как обычно в деревне, ритм жизни замедлен. Никто, вроде, особенно никуда не торопится. Людей мало, очень тихо вокруг и просторно: во все стороны поля с перелесками. Грязь, разумеется, классическая, но до музея идет единственная прямая и асфальтированная улица, мое спасение.

Живу я в церковной сторожке времен Арсеньевых, напротив часовни и склепа. Окно выходит в деревья, и они шумят в непогоду, как лес. Живу на заповедной земле, никак к этому не могу привыкнуть, не привыкну, видимо, как к обиходному, никогда. Рядом церковь Михаила Архангела, выстроенная бабушкой М. Ю. для крестьян. Над колокольной постоянно выются черные птичьи стаи. Пернатых здесь много, даже ночных. В парке не все еще деревья осыпались. Белого свечения кленов я прежде не встречала. Красота на каждом шагу, составной элемент бытия. Это помогает преодолевать тоску по друзьям, и оставленному.

Странное место — здесь не продаются книги. Библиотека музея и директорская компенсируют отсутствие собственной.

В этом году я решила не покупать книги. Негде хранить, некогда читать. Я переведена из экскурсоводов в старшие научные сотрудники, отвечаю за просветительную работу среди населения. 4 октября музей проводил есенинский вечер собственными силами (первая моя „режиссерская” работа в просветительском направлении), вечер прошел довольно успешно. Были старшеклассники, учителя, молодежь. Впереди — Лермонтовский вечер (15.10), задуманный как вечер поэзии, посвященный М. Ю. Лермонтову.

В программе стихи Пастернака, Цветаевой, Блока, Мандельштама. Естественно, — Лермонтова.

Один из сотрудников играет на фортепьяно, все читают стихи, зам. директора — поэт. В музее все молоды и трое — выпускники СГУ (включая меня). По-моему, скоро в сторожке, которую обещали превратить в зимнее помещение, будет коммуна: сюда собираются переселиться

музейные бесквартирные новоселы. Всем нравится общество друг друга и независимость от квартирных хозяек. Я с Борькой обосновалась в маленькой комнате (завтра его привезет Борис Яковлевич), молодежь — в соседней, если разрешит директор. Пожалуй, мы заживем славно: всем надо заниматься, все достаточно умны и тактичны, чтобы избегать неприятных сторон общежития. Возник замысел рукописной газеты „Сторожка”. В общем, пожаловаться на одиночество не могу.

В музее постоянно выставка работ художников, связавших свое творчество с творчеством Лермонтова. В настоящее время — графика П. Бунина. Перед его приездом с неделю жил Мищенко А. И., известный своими гравюрами по памятным местам — Пушкинский заповедник, Ясная поляна, Тарханы и пр. Есть на чем поупражнять глаз. Приезжали недавно пензенские писатели — это совсем другой статьи люди, но на первый взгляд тоже довольно любопытные.

Не вошла еще в работу по-настоящему, думаю скоро освоится с новыми обязанностями и своими замыслами коренным образом. Мешали печальные происшествия с Володей, акклиматизация, некоторое бытовое неустройство. И бронхит, от которого почти полностью освободилась. вернувшись к обычному водному режиму — благо, пруд рядышком.

Беспокоит беспутство младшего: без меня стал плохо учиться, отбил от дома, бабушку не слушает. Придется с ним повозиться. Володина судьба печалит и тревожит не только последствиями, но и своей неожиданностью, неразгаданностью.

„Лунина”¹³ видела на столе у Юлиана Григорьевича. Он тоже отзывался одобрительно об этой книге.

Вы, судя по всему, не информированы о несчастьи с моим Володей. Он проработал в Лермонтове 10 дней, необыкновенно понравился всем музейным, а потом приехал милиционер из Хвалынского и забрал его по обвинению в краже магазина. Второй раз приезжал следователь снимать показания. Объявил мне, что я не знаю души Володи, — он вел двойную жизнь, это не первый случай нарушения законности.

Известие пришло, как Вы сами понимаете, весьма кстати. Володя без меня нервничал, плакал, говорил о смерти. Вел себя несколько иначе, чем матерые рецидивисты.

Мне кажется, что им руководили чувства добрые, но он выбрал ложный путь для их воплощения. Будет суд, меня вызовут. Я от него не откажусь.

13 октября, 1970 г.

Вы знаете, смерть всегда одаривает какими-нибудь грустными прозрениями. Прежде всего по-настоящему узнаешь, насколько был нужен ушедший, как не хватает именно живого, этого человека, и все живущие на земле миллионы не восполняют одной потери. Я все время тоскую по живому Юлиану Григорьевичу, по его голосу, шуткам, мыслям, походке, рукам. По тому, как он трет глаза, сидит в кресле, слушает чтение. По самым непозитичным, обиходным проявлениям его живой сущности. Мне все равно было, сколько ему лет, сколько морщин — кстати, их почти не было, — как неверны стали ноги и глаза... Не могу простить себе непонимания, неверия в близость его ухода, хотя сама много раз говорила о нем. Но говорила как об абстракции, не представляя реальных размеров бедствия. Если бы представляла, жила бы все лето в Москве рядом с ним, не отходя ни на шаг.

Антонина П-на — второе открытие. Я думаю, никто — и она, возможно, в том числе — не предполагала, что личность Юлиана Григорьевича настолько держит в тени и подавляет ее собственную, что бунт или, по крайней мере, заявка на самостоятельность даст себя знать с такой силой. Мне показались натуральными ненормальность ее реакции, оскорбленность и уязвленность самолюбия — протесты личности, претендующей на автономию: до сих пор она была только женой Юлиана Григорьевича, он дальше технической, секретарской работы ее не пускал. Ей же хочется самой по себе что-то значить, хотя бы по праву престолонаследия. Поэтому буквально с первого дня она села за архив, поэтому ее так возмутила мысль об опеке. Она не только бы мою помощь отвергла в работе лит-й, но и предложения подобного плана настоящих литературоведов, чему я свидетельница.

Самоутверждение, если не хватит физических сил, поможет ей преодолеть живую боль потери.

Думаю, скоро обживусь в Тарханах. Музейные люди приняли меня, быт наладится. Одно несколько смущает: отторженность от вновь выходящих книг и богемность музейных нравов — „все мы бражники здесь и блудницы”. Последнее — для красного слова сказано, а всякие междуособойчики, в общем-то, можно при желании исключить. Важно одно: люди, действительно, умны, с правильным взглядом на вещи, т.е. современность, заслуживают полного доверия. Любят XIX век, поэтов XX, Лермонтова пока знают лучше меня. Похожу в подмастерьях с надеждой выбиться в люди.

P.S. Очень бы хотелось иметь последнюю вещь Галича. Это возможно?

...Хорошее доброе отношение страшно обязывает: совестно не оправдать его, хотя и знаешь, насколько это не совпадает с собственным представлением о себестоимости. Знаю по себе и другим, что добро прорастает добром, поэтому мне было бы очень грустно в чем-то Вас разочаровать, став исключением из этого правила (чаще стою за исключения, т.к. в большинстве случаев они интереснее правил). Так, сколько помню себя с сознательного возраста: неверие в себя со стороны даже не безразличных людей успокаивало, любая вера тревожила, как ответственное поручение или чужая надежда, которую нельзя подорвать. Теперь же Ваши письма и саратовских и марксовских друзей прижали меня к стенке, как вексельные обязательства на доверие, мужество и всяческую хорошесть. Попробуй здесь не устыдиться и не впасть в жестокий самокритицизм! Именно этим мне и нужно было заниматься с первых дней пребывания в Тарханах: похестче требовать с себя, а не предаваться „чистому золоту созерцания” и не транжирить время по пустякам со скидкой на вживание в новую среду. В деревне вообще свободнее обходятся со временем, оно не подстерегает и не наступает на пятки, как в лихорадочном городском темпе жизни. По давней усталости и эмоциональному подтексту (его не выкинешь!) я легко поддаюсь этим расслабляющим обломовским ритмам и богемной струе музейных нравов. Тихий, теперь уже теплый угол, — малая комната сторожки, — восстановил меня отчасти физически, отчасти духовно: отхожу от усталости, от тяжелых событий последних месяцев, насколько можно от них отойти. И отчаянно злюсь на себя за допущенные огрехи, за срывы и спотыкания. Читаю, пока занимаюсь в основном ликвидацией собственной безграмотности.

Очень меня успокоило свидание с Володей в саратовской тюрьме (в Хвалынск не прорвалась по погодным условиям). Дали 5 лет. К приговору он претензий никаких не имеет, просил убедительно не подавать кассаций. Воспринимает его как должное наказание за содеянное. Все, что мог, взял на себя. Уверен, что просидит не более, чем два с половиной года, т.к. начертал для себя строгую и четкую программу: кончить заочно десятилетку, получить еще одну специальность каменщика, чтобы на стройке в городе после окончания срока заработать для нас квартиру.

Внешне он за месяц разительно изменился: повзрослел, посуровел, детскость и беззаботность с лица, как свежесть и юношеские краски, словно рукой стерли. Глаза — серые, голубизна непонятно куда делась, будто ее и не было. Обрадовало меня осмысленное отношение к случившейся беде и желание жить с чистой совестью. Он и главной своей виной считает нарушение нравственных законов: почему раньше не рассказал мне о прошлом... Если бы рассказал все о себе, не случилось бы и настоящего. Отношение к государственной собственности у него типичное для детдомовских детей. В облагороженном варианте оно выглядело так:

если от многого берешь немножко, это не кража, а дележка. Тем более: когда берешь в основном не для себя. И еще: ему очень стыдно меня, моих друзей, которых он успел узнать и полюбить. Ему есть что с чем сравнить: год жизни в Марксе дал богатый материал для сравнения, и выбор он сделал, только не смог сразу и навсегда расстаться с прошлым.

Когда следователь сказал, что я не знаю его души, что он вел двойную жизнь, я согласилась. Я знала (и знаю) хорошее в нем, и оно никуда не делось, оно есть и непременно возобладает, если ему продолжать помогать, если верить в него. Теперь я узнала и плохое, скрытое раньше от меня. Но это еще не самое плохое, что может быть в человеке, который с 4-х лет воспитывался в казенных домах. Я абсолютно точно знаю, что случись такая беда с Борисом, он и десятой доли той нравственной стойкости не обнаружил бы, что есть у Володи. Сопроматных свойств у него пока ничтожно мало, у Володи же — много. Борька рассказал мне, как он плакал, когда еще в Марксе узнал о беде с Володей. Я и этому рада.

Володю оставят в Саратове; работа — в сельскохозяйственной пригородной зоне по специальности. Школа есть. Учение у них весьма поощряется. Он еще очень молод: 31-го октября, как раз в день свидания, ему исполнилось 22 года. В Саратове ему ежемесячно мои друзья смогут делать передачу. Почин уже есть. С нетерпением жду от него первых писем.

Борька постепенно привыкает к Лермонтову, к новому быту. Много читает, в сельской школе надеется выйти в ударники. Пишет отвратительные по качеству стихи, но пишет их упорно. С интересом прочел книжку Эйхенбаума о Лермонтове, хватается за Хемингуэя. Самый настойчивый, опасный, бродильный возраст, и мне спокойнее, когда он рядом, на глазах.

На праздники приезжал к нам Ян — мой бывший ученик, работает после мехмата СГУ в саратовском НИИ. В Тарханах он побывал еще школьником вместе со мной, в один из походов. И — нынешним летом со мной же на мотоцикле. Ян успел привязаться к Борису Яковлевичу,¹⁴ который успешно продолжает его поэтическое образование, т.е. знакомит со своими любимыми поэтами, говоря точнее.

Очень огорчилась новой повестью Грековой в „Звезде” №9. Она скучна местами, пропал чудесный грековский юмор, развилась какая-то назидательность. Великомученик Гарусов мне не ясен. Надо перечитать. Впервые автор не показывает, рассказывает о своих героях.

...как я благодарна Вам за Ваше письмо-призыв! Я понимаю, что каждый лечит своими средствами. Писание — спасение, ничто так не

поглощает и не отвлекает от бед, самых страшных, это я знаю. Просто я не отошла еще вполне от пустой бездуховной работы в гороно, которое как всякое нелюбимое дело, развращает хотя бы уж тем, что отвращает, уводит от любимого. Не избавилась (но начинаю!) от застарелой усталости, от передряг последних месяцев. Наступает, мне кажется, тихое и благоприятное для замыслов и реализации их время. Я надеюсь его использовать разумно, иначе незачем было приезжать сюда. Обещаю Вам твердо одно: буду пробовать. Быстро умею только ездить на мотоцикле, в остальном — человек замедленного действия, поэтому так все у меня нерасторопно получается. Лиха беда начало. И не только по себе, а по отношению к этому занятию началу. Писать не только трудно, но и страшно. Книга, статья ли — это обращение к множеству. Возникает естественное сомнение в праве на внимание множества людей. Кроме того, остался какой-то детский страх: представление о пишущих как о небожителях, породе избранной, на сопричастность с которыми трудно рассчитывать. Понимаю, что это вполне преодолимый психологический барьер. Почти неделю в Тарханах стоят туманы и сумраки. Лед на прудах залит водой, но ходить по нему можно. Деревья, поля, простор. Даже плачущая и стынувшая природа не оставляет меня равнодушной. Сами по себе условия жизни не обременяют, несмотря на свою первобытность. Но по Саратову, по друзьям больна хронически... С этим ничего не поделаешь.

21

26 ноября, 1970 г.

Машенька Ильина, подательница этого письма, живет в Тарханах с лета, мы работаем вместе. Она окончила СГУ в 70-м, защитила диплом (по Лермонтову) блестяще. Умница, с правильными взглядами. Ей Вы смело можете передать в руки любое письмо, спросить о чем угодно. Володя очень привязался к ней за свое кратковременное пребывание в Тарханах. Она знает о нем столько же (о его несчастьях), сколько и я.

Только сегодня пришло неофициальное уведомление о суде. Недоумеваю, почему нет официального вызова в суд, как это было обещано.

Борька со мной, быт налаживается. В Саратове и Марксе все мои ближайшие болеют и испытывают всяческие неприятности. Думаю успеть хотя бы на день заехать в Маркс, повидаться с друзьями и взять нужные книги.

Рада страшно за Ал-дра Ис-ча — премия!¹⁵ Но, судя по „Литературке“, принесет она ему массу дополнительных неприятностей у нас.

Еду в Хвалынский с ожиданием каких-то ужасных разоблачений, темной потаенной стороны Володиной жизни. Идеалистическая концепция личности провалилась. Но все равно: то хорошее, которое я и мои друзья

видели в нем, есть. Мы знали хорошее и не догадывались о существовании плохого.

22

2 января, 1971 г.

Я встречала Новый год в сторожке, с друзьями-саратовцами, консерваторцами, которые не побоялись транспортных затруднений и прибыли как раз вовремя., 31-го. Если бы не они, пришлось бы обменяться текстом с фотографиями и письмами. Борька каникулы проводит у бабушки, музейный Володя, сосед по комнате, покинул Тарханы навсегда. Маша уехала в Пензу.

Меня не тяготит одиночество, я рада ему. Так сжилась с крестами, деревьями и надгробьями, что становлюсь нелюдимой. Провожу своих гостей и тогда напишу подробнее о тархановском житье.

Читаю старинные книжки и все более погружаюсь в XIX век. Это мне по душе. Есть проигрыватель и пластинки — Бах, Моцарт, Григ, Рахманинов. Есть стихи, природа, собака музейная. Почти все главное.

Если верить в торжество нравственных законов, все мои друзья будут счастливы — рано или поздно. Лучше бы, конечно, без больших опозданий.

23

17 января, 1971 г.

...это уже третье начало неотосланного письма. Первое было месяц назад.тому. Со мной редко так случается — писать с третьей попытки. Простите, пожалуйста, за неразворотливость, за длительность молчания, но я думаю, что Вы дурно его не истолкуете. Оказывается, даже в Тарханах можно жить, очень мало что успевая, хотя по вечерам носу не высовываю из сторожки, давно отключилась от всех междусобоев и коллективных торжеств.

Вслед за своими гостями, я 5-го, неожиданно для себя, а тем более для друзей, улетучилась в Саратов и провела там 5 дней. Они промелькнули быстрее пяти минут. Возвратилась вместе с Борисом вечером 11-го. Теперь отрабатываю по выходным свою поездку. Она во многих отношениях была для меня необходимостью.

Сын же мой чрезвычайно доволен своими каникулами, Марксом и Саратовым, где его сильно привечают. Мы с ним остались в сторожке одни — наш сосед по комнате, музейный Володя, распрощался с музеем

из-за случайных распрей и покинул Тарханы.

Скучать некогда — многое надо прочесть, кое-что начинаю писать. По вечерам разговариваю с Борькой, читаем вместе стихи или отдельно — книги, каждый свое. С появлением лыж жизнь в деревне не кажется ему столь угрюмой, как поначалу.

Мы с Машей предельно заизолировались от музейного микроклимата — он во многом разделяет пороки маленьких коллективов, замкнутых в себе.

С жадностью накинулась на „иностранку” с Хэмом. Начало в 11-ом¹⁶ номере мне так было по душе, что не могла дожидаться продолжения. Вся линия — дом, океания, художник и его друзья, дети — привела в восторг. В 12-ом, там, по-моему, не нашлось руки которой под силу поднять черновик писателя. Очень досадно не видеть характер главного героя в полном его проявлении, психология тонет в сюжетной раздробленности, в побочном потоке. Трудно уследить за массой вынырывающих лиц, а зерно трагического не проросло. Вот какое осталось впечатление от прочитанного. 1-ый номер пока не пришел.

„Сто лет одиночества”¹⁷ (кажется, так?) только что начала. Очень сочная фактура, видно, крепко сделанная вещь, но я еще только-только к ней прикоснулась. В деревню последние книги доходят только с помощью друзей. Из Москвы прислали давно прочитанный Вами сб. стихов Евтушенко, из Саратова привезли „Тень звука”. То и другое, вместе с „Днями поэзии”, думаю, хотя бы в усеченном, ограниченном представлении донести до школьников, совместить вечер, кот-ый запланирован в ближайшее время музеем. Все же всякая другая работа, накопительская по сравнению с педагогической, оставляет ощущение замкнутости, камерности. Привыкла в учительстве к открытым „шлюзам”, а сейчас, потому что нет „исходящего”, видимого продуцирования, испытываю даже какую-то неловкость: все вроде бы делается только для себя, для удовлетворения своих эстетических потребностей.

С радостью узнала, что Любовь Кабо — Ваша старая знакомая. Я ее давно люблю по книгам и статьям. Облик ее по написанному очень мне симпатичен.

Паустовский — вечный мой спутник, единственный поэт в прозе из советских писателей. Я всех знавших его живым всегда расспрашивала до мельчайших подробностей о нем, все казалось значительным. Помню рассказы Юлиана Григорьевича, еще двух-трех людей, имевших случай его видеть.

К Платонову тяготее, к его истинности, цельности таланта, к корневому видению жизни, но я плохо его знаю. Взяла недавно в библиотеке, чтобы перечитать.

...о Володе моем — ни духа, ни слуха. Мои письма не доходят до него, его — до меня. Бесконечные переводы из одного места в другое. Теперь он в Волгоградской области. Буду скандалить с тюремной администрацией, а потом разыщу его сама.

25 февраля, 1971 г.

После долгого онемения я, кажется, восстанавливаюсь в речи: месяц почти никому не писала. Не по особой занятости, а просто заклинило: сработали непроизвольные тормоза. Вот и это письмо, начатое неделю назад, продолжаю в первый день марта. Ваше предпоследнее письмо путешествовало со мной в Саратов., вернулось в Тарханы. Какое-то время держался положительный заряд поездки, но он быстро иссяк. Наверное, я была слишком избалована дружеской средой прежде, если мне так существенно ее не хватает здесь. Общество книг и Маши не поглощает целиком. Борька — это работа, преодоление множества неприятных черт. Работа и забота. Очень редки моменты общего благостного состояния.

От Володи по-прежнему нет известий. Это меня огорчает и наводит на самые грустные предположения. Дома, кажется, все более или менее благополучно. Москвичи и саратовцы снабжают нас с Борькой всякими капитальными пищеблоками, словно мы голодающие индусы. Вот и все мои „внешние” новости. Да, оживленную переписку ведет Борис Яковлевич, перекачивая в письма свою жизнестойкость. Но у нас с Машей появился не менее стойкий критерий в определении дружеспасательства: приезды или неприезды. Столько было щедрых посул со стороны ближайших саратовцев, столько мы встреч предвкушали! И после Нового года — ни души.

Сегодня, 1 марта, в Тарханах бушевала совсем зимняя метель, шел снег. Самый суровый день за всю зиму. Сторожку нашу занесло, и она стала похожа на грибной домик, который обычно изображался на рождественских открытках.

Здесь, действительно, белые снега, особенно на прудах. Даже засыпанные и застывшие, с оголенными дерьявями и кустами, они очень живописны. Что же за чудо ожидает нас весной!

Читаю „Иностранку” и иностранцев, любимых англичан — Олдингтона („Семеро против Ривза”), Чивера. Прошла книжку Грибанова о Хэме. Как она Вам? Библиографический материал устроил меня гораздо больше, чем анализ произведений. Может быть, характер книги, жанр ее, и предполагает известную беглость в анализе произведений, но если бы я впервые прочла о „Колоколе” в ЖЗЛ, я не выделила его и не испытала жгучей потребности прочесть безотлагательно. Очень бледной и схематичной показалась мне эта часть книги.

...У каждого дерева свое лицо. И очень тихо и чисто в нем, как в заколдованном диком лесу. Дорожки чистят самые центральные, к барскому дому, остальное нежится в чистейших голубых снегах.

Два предыдущих выходных я устраивала по три часа роскошной жизни: уходила на лыжах в Хан-Гиреев парк и в Долгую рощу, то и

другое живет с лермонтовских времен. Дней пять подряд светило солнце — это редкость удивительная в здешних местах. Мы почти привыкли к низкому сумеречному небу, вроде и не бывает другого. А тут солнце, и легкий мороз, и чистое поле до горизонта. Хан-Гиреевский парк в 3 км от Тархан, черный массив в белых полях. В нем сохранилось много старых деревьев, кряжистых, до поднебесья. Нигде не встречала их в такой концентрации. Видимо, в них воспитывалась целая династия грачей. Это напомнило мне усадьбу и парк из „Давида К.". Парк живет самостоятельно, деревня ушла далеко в сторону. Парк и речка Милорайка, зарывшаяся в снега.

Травмы летнего похода коварно заживают: вдруг образовалось какое-то костное образование на ушибленном локте. Чембарский хирург говорит об операции. Я, конечно, отложу ее до весны и предпочту делать в Саратове, т.к. родной город и встреча с друзьями сами по себе целительны.

В середине марта должны провести ахматовский вечер. Жаль, нет Добина или другой работы, нечто свободное о творчестве Анны А. Музей готовит новую экспозицию, поэтому все „научные" заняты исключительно ею.

У Хемингуэя жизнь не уступает книгам. Одна мысль прозвучала для меня особенно убедительно: умение организовать, создать жизнь свою таким образом, чтобы она приносила радость, даже наслаждение. Или удовлетворение, на худой конец. Бездарность, наверное, прежде всего проявляется в отсутствии этого качества. От собственной бездарности никому из окружающих радости не прибавится. Или жить так — наполненно, осмысленно и одухотворенно, или вообще не жить. От серости рождается серость, это уж точно.

25

17 марта, 1971 г.

Вчера получила Вашу бандероль. Большое спасибо! Добина я Вам скоро вышлю (через неделю, наверное), он пришел весьма кстати, вместе с „Простором" №2 за 71 г., где портрет А. Ахматовой (худ. Н. Яровая) и небольшая заметка о пребывании А.А. в Ташкенте. За Рильке не знаю, как благодарить. У меня ни строки его нет. Я рада иметь книгу, заранее предвкушаю радость ее прочтения.

Вообще, март 71 года впишу в именинный список личных праздников — самый светлый месяц в Тарханах из всех, проведенных здесь. Ваш подарок, а перед ним музейный (к 8-му), тоже книги, т.е. значит самый желанный из всех возможных. Эткинд „Разговор о стихах" и „Вольтер" Акимовой в ЖЗЛ. Маша подарила мне Сент-Бева, а

Б. Я. Ямпольский — самого себя, приехав сюда 5-го. Четыре дня мы с Машей блаженствовали, принимая дорогого гостя.

Праздничность встречи, дружеского внимания, праздничность природы, которая уже прорывается через последние заслоны зимы — все действовало тонизирующе.

От Антонины Петровны было хорошее письмо и подарочная бандероль. Купаюсь в этой радостной волне и настраиваюсь в лад ей, внушая себе, что черная полоса позади. „Разве новые встречи уже отсияли, разве только собаки живут на земле?!”

Сразу поверилось в эти встречи, в какие-то повороты — неведомые — рабочие, жизненные. А, может быть, сработал инстинкт бродяги: лето, дороги, поездки, новые люди, новые места. По теплу в Тарханы потянутся бывшие ученики, которые пишут мне, друзья из Маркса (учителя), из Саратова. Сама я буду в Саратове, видимо, в первой половине апреля. Хотя повод не очень веселый — еду консультироваться к врачам насчет руки, сильно зашибленной минувшим летом, все равно радуюсь перемене и саратовцам, которых скоро увижу.

Лето, до отпуска, пробуду в Тарханах, раньше августа мне нет смысла уезжать. Что дальше, пока не загадываю. С удовольствием отправилась бы в какую-нибудь экспедицию, но теперь обходятся без секретарей и литературных отчетов. А жаль. Жанр путевых заметок, мне, вероятно, пришелся бы в пору.

Книжку Добина прочла сразу, вспомнила, как о ней отзывался Юлиан Григорьевич. Она показалась мне легковесной, т.к. обходит мрачные стороны жизни Анны Андреевны, эпохи. Но это лучше, чем ничего.

26

27 марта, 1971 г.

...великолепное начало первого весеннего месяца. Я совсем было настроилась на оптимистический лад и стала бодро поглядывать вперед. Внезапная весть сразила наповал: ушла из жизни добровольно Нина Карловна, близкий друг Бориса Яковлевича Ямпольского.

...только что вернулась из Саратова, полна горьких и тревожных новостей, о кот-ых Вы, вероятно, уже наслышаны..¹⁹ Трудно было уезжать, оставляя друзей в смутном состоянии вынужденной разобщенности и единстве одной судьбы: все ждут худа, нервотрепок, служебных и прочих неприятностей. Все буквально выгоняли меня в Тарханы, считая, что

здесь я в большей безопасности, чем в Саратове. Действительность представляется скверным мифом. Не могу смириться с потерей Нины Карловны, она была исключительным человеком, деятельно добрая, нежная и печальная душа. Ее взгляд на мир был очень целостным, вполне безотрадным, Она любила театр, музыку, стихи, вообще книги, тонко и разнообразно чувствовала природу, но более всего — немногих людей, которым была предана безгранично, всеми помыслами и чувствами. Ее дом и для меня был светлым и теплым домом, без нее многие осиротели. По существу, это не само, а просто убийство, смерть, выходящая за пределы личной биографии.

Что же касается меня, я спокойна. Грустно только за друзей, за бывших учеников, сопричастных невольно моей жизни. Боюсь за них, но верю в их понимание, стойкость и нераскаянность в выборе своих дружеских привязанностей. Все-таки круг главных духовных ценностей у нас один. Для меня встреча с Юлианом Григорьевичем означала так много, что я могу пожалеть только об одном: о невозможности продолжить ее. Встречи с людьми его круга и полета — главный мой капитал, остальное только наращивается вокруг него.

...А в Лермонтове высокое небо, солнце, высыхают пригорки, трава так и рвется из-под земли — Высокое торжество жаворонков, скворцов и разных пернатых, и все верещат и заливаются — каждый на свой лад. Из моего сторожкового окна так странно видеть распахнутые настезь двери склепа, блеск мраморного надгробия в глубине и в солнечном потоке, заливающим часовню снаружи, — столкновение света и мрака. Как молодая жизнь у гробового входа.

Скоро Тарханы станут невыносимо прекрасными.

...что Вы скажете о литературно-критических статьях А. Платонова? Недавно мне попался маленький сборник их. Удивительное несоответствие с рассказами. Как будто писал другой человек.

Читаю книгу Вейса о Моцарте, по началу видно, что очень понравится.

27

23 апреля, 1971 г.

Музейная машина уходит на рассвете, (уже ушла!), а я смотрю в окно, как он занимается, как все четче проступают контуры часовни и деревьев. Окно изумительное, второго такого в жизни не будет: живая картина. Окно выходит в деревья и восход... Видно стволы и кроны, и дорожку к склепу, и строгие очертания его. Видно траву и землю, и черные газоны, на которых скоро оживут розы. Только на восходе солнце проникает в сторожку, бьет прямыми лучами, пока раскаленное, огненное — еще не поднялось. Второе по счету у меня изумительное окно

было в Лысовке, в доме у моря. Из маленькой кухоньки окно смотрело прямо в море. Ничего по краям (этид), а сразу — море и песок. Я его очень любила. В шторм дом гудел, как судно, врезанное в берег. Окно распахивалось, и ветер врвался и уносил все запахи, кроме своего, морского. Летели бумаги, книжки раскрывались сами, а мелкие предметы порхали, как мотыльки. А маленький Борька смеялся от этой веселой кутерьмы в доме. Тысячу лет я не видела море и скучаю по нему, как по человеку. Даже больше. Ночью, в сильный туман, я зажигала свет и уходила берегом в бухту. Шла ощупью, по шуму волны и резкому запаху, который усиливался у причала: пахло водорослями, рыбой, морем, ослизлыми камнями, выступающими из воды. И ракушками. Возвращаться я любила еще больше, чем уходить: дом на три стороны пучками разбрасывал свет. Световые полосы — такие напряженные, натянутые, — выглядели необыкновенно в тумане. Дом-фонарь стоял в ста шагах от песка и колючек совсем один, четырехугольный, а не продолговатый, как все остальные. Поодаль еще домик под красной черепицей, а дальше — пространство песка, колючек, свободы от домов и людей. В соседнем домике жила учительница-пенсионерка. Ей одной приходило больше журналов, чем на весь поселок. Во дворе ее дома жили гуси, в комнате — спасенный нырок. А около моего — две акации, собака и бродячая кошка. Со стороны моря, у стены, лежала большая автопокрышка. На ней мы с Борькой по утрам пили какао — любимый напиток той поры. И смотрели на утреннее море, как оно дышало и шевелилось. Ночью же мой дом один на всем побережье стоял и светил. Дом-маяк.

Вот как далеко увели меня воспоминания от рассвета в Тарханах. Последние мои чтения не из XIX века — Рильке и Цветаева. Интересно, писал ли кто-нибудь о них двоих, о цветаевском отношении к поэту, истоках их близости? Мне очень захотелось узнать дочь Цветаевой. Ясно, что она другая, но помнить мать она должна больше других. Непременно, когда обрету свободу передвижения, приеду в Елабугу. Говорят, это ужасная глушь. Пишу Вам под непрерывный колокольный звон. Маша, возможно, говорила Вам о странных звуковых явлениях в сторожке: почти ежедневно в нашей комнате звучит колокол. Слышало множество людей, даже скептический Бор. Яковл. А вчера вечером даже Роза насторожила уши и глянула в сторону окна. Возможно, что какой-то монастырский звукоэффект, но уйти от него невозможно. Привыкли, так и живем с колоколом. Рильке оставил горькое чувство обделенности искусством. Вроде еще одной завизированной границы, которую вряд ли уже пересечешь. „Обездушенное воспитание” (без предметов „эстетического цикла”), о которой предупреждала Декларация единой трудовой школы еще в 1919 году, осуществилась вполне. Жалко молодых, детей, проживающих в дикарстве и даже не подозревающих о других мирах — музыки, живописи, скульптуры. Такой усеченной, обкраденной жизнью живут миллионы, и ничего с этим не сделаешь.

И у Рильке, и у Марины Ив. поражает глубина самопогруженности, сколько пространства, воздуха, света и живородности в их мирах! Я задалась целью прочесть все до строчки Цветаевское, что сохранилось. „Пушкин” у меня есть свой — подарок Нины Карловны, которую Вы не знаете. В „Русском архиве”, „Старых годах” читаю, как пишут аристократы. И завидую им: умели писать и разбираться в человеческой психологии. То, что сказала гр. Блудова о женской душе, только частично развил Добролюбов в трактовке характера Катерины. Как многообразны истоки русской культуры и культуры вообще. Если представить, что они когда-нибудь воссоединятся. Конечно — утопия. Но в этой утопии мне видится единственный путь долгожительства людей. Все, пора за работу.

28

13 мая, 1971 г.

...Ваши письма всегда для меня — письма с Большой Земли на зимовку. Хотя сейчас ничто в нежной тарханской весне не напоминает утробного уединения. Каждый день приносит какую-нибудь природную радость: ветлы прибрежные уже опушились, и, действительно, как будто пухом зеленеют. На склонах по всему парку высыпали фиалки и желтые плебейские цветы, украшающие любое подзаборье. Березы особенно трогательны, их здесь довольно много. В усадьбе они столпились вокруг дома ключника — большой бревенчатой избы. Выбросила первые листочки сирень, свернутыми в трубочку листьями, так и лезут из глубины, пронзают ее из земли. Воздух целительный и тревожный: запахи отрывают от оседлости, от заземленности бытом, от рабочих столов и уводят Бог знает куда, пробуждая древние кочевые инстинкты. На выходной день именно они и яркое, нездешнее солнце увели нас в Шан-Гиреевский парк. Он один такой высится в чистом поле — чудо степное. Я Вам уже писала, как хорош он был зимой, но то — графика, теперь же все в цвете, весной и в зеленом шуме. Все птицы средне-русской полосы послали сюда своих делегатов, а соловьи, опережая свою соловьиную пору, уже поют! И жаворонки, и скворцы, и горлинки! (Последние — очень своеобразно, их песню путают с криком тритонов). Скоро черемуха зацветет и сирень, которой здесь уйма. Летом все установится, определится, пропылится или иссохнет, лишится младенчески свежего дыхания весны. Прямо не знаю, какими еще словами звать Вас сюда! Именно в мае, во второй половине его, наступит самая прелесть, и как жаль, что Вы ее не увидите.

Просветительство я считаю одним из самых серьезных и необходимых занятий на свете. В благо общественных катаклизмов я верю мало, в природе господствуют законы эволюции. Просветительство, мне

кажется, сродни им. Это как хлебопашество и прочие корневые специальности, без каких нет человека. Я чту просветителей всех времен и народов и верю в его неодолимость. Для меня это столь же верно, как то, что рукописи не горят.

29

21 мая, 1971 г.

Почти весь май прошел в празднестве встреч: приезжали гости из Саратова, одна милая старая женщина из Москвы, которая в 73 года путешествует естественно и легко, словно дышит.

Если бы Вы знали, как прекрасны сейчас Тарханы! Цветет черемуха, о многоголосии пернатых рассказать невозможно, цветут старые и молодые клены, оделись листвою 200-летние липы. Мы ходим по парку, вздыхаем и немеем от восторга. Правда, прибавилось экскурсоводческой работы: в минувшее воскресенье провели 12 экскурсий, в следующее обещают 24. Суббота и воскресенье — самые горячие дни.

Из Саратова хорошие вести: Бор. Як. обещал скоро приехать и рассказать о них самолично. 18 мая, в день рождения, я получила 12 телеграмм и множество писем, которые надолго вдохнули в меня жизнь. Дествительно, жить стоит, пока кому-то человек нужен, пока о нем помнят. Гости, выезды и выходы в окрестности Тархан, всякие празднества надолго оторвали от книжных занятий. Сегодня первый тихий, такой славный душистый вечер, сторожка стоит почти в лесу, и в раскрытую дверь несутся соловьиные трели и запахи. Я пишу Вам и думаю, как трудно совместить в пределах одной короткой жизни общение с людьми и мудрость книг, радость природы и творчества с несвободой житейской. Чем больше вчитываюсь в Лермонтова, тем больше ощущаю свое прежнее незнание его и слабость и приблизительность теперешних интуитивных прозрений. Хочется хотя бы недолго пожить неторопливо, без суеты, вдумчиво и чутко. Всматриваясь и вслушиваясь в окружающее.

Последнее, что читала из иностранной литературы — Ивлиня Во „Пригорошня праха” и Зигфрида Ленца „Урок немецкого”. К англичанам я всегда была равнодушна, особенно к таким невеселым. Во читала впервые, с интересом, хотя на первый взгляд он показался несколько суховатым, графичным. Поэзия Хеттона очень близка.

У Ленца настолько сочная живопись, так видишь все, что с тоской подумалось (как после Рильке) о нехватке художественных, эстетических впечатлений! Захотелось пожить среди картин старых мастеров, посмотреть новых. Вдохнуть запах мастерской. В мае Боря вернется к бабушке, в Маркс, а я постараюсь как-нибудь поэкономнее распорядиться оставшимися летними месяцами. Упростится быт, меньше времени будет

растекаться по его бездушным каналам-канавкам. Боюсь заглядывать вперед, но Маркс кажется неизбежным.

В Москву меня не пустили, впереди — разгар экскурсионного сезона. Надежд мало на мой ближайший приезд, однако в августе я приеду хотя бы на неделю...

Сегодня слушала впервые грамзапись песен Н. Матвеевой в авторском исполнении. И увидела портрет на обложке с очень, вероятно, характерным для нее выражением рассеянной самоутраченности. Какое обычно-необычное лицо!

30

21 мая, 1971 г.

Рильке перечитываю, углубляюсь в него, смакую. Вам бы писать и работать, рассказывать и рассказывать людям о бездне интересностей, которыми Вы так богаты! Живи я поближе, обзавелась бы портативным магнитофоном и ходила бы за Вами следом на правах одного из „братьев меньших”.

Второй день здесь стоит лето — асфальт размягчается от жары, все цветет и благоухает. Лучшего времени для встречи с лермонтовскими местами и не придумаешь. Привыкнуть к ним невозможно, во всяком случае мне адаптация профессионализма не угрожает. Каждый день замечаешь новые оттенки в знакомом пейзаже. Стихи Лермонтова в Тарханах читаются другими глазами, это ведь страна его детства.

Недавно мне подарили две великолепные пластинки: хор мальчиков „Томанерхор” поет рождественские песни и дрезденский хор „Кройцхор” — семь слов Иисуса Христа на кресте (Генрих Шютц). Смотрю на них как лиса на виноград, а слушать боюсь: они — стерео, обычный проигрыватель может их повредить.

Маркс маячит впереди почти абсолютной неизбежностью, но думать об этом не хочется: хочу целиком сосредоточиться на тарханской жизни, на возможностях рабочего одиночества в оставшиеся летние месяцы.

31

26 мая 1971 г.

Сейчас цветут сады, зелень еще новенькая, а музей затопили экскурсии — конец учебного года, везут школьников. В начале июля они схлынут, пока же мы циркулируем безбедно, почти не присаживаясь, вместе с толпами приехавших. Оказывается, это довольно утомительное занятие:

держат в поле внимания разновозрастную, разнохарактерную массу, жаждущую, в основном, легкой информации, развлекательности. Мы чувствуем себя заигранными пластинками и буквально остаемся без голоса, выпотрошенные как рыбы. Приходим домой, заглатываем порцию концентратов и укладываемся в постель, мечтая о безлюдии и долгом-долгом молчании. Только выходные — (понедельник и вторник) — наши. В начале июня Боря уезжает к бабушке, быт упростится, а я лучше войду в эту говорильную жизнь — окрепнут связки.

32

16 июня, 1971 г.

...поздравляю Вас с хорошей книгой.²⁰ Она просветительская и очень Ваша — по теме душевного сопереживания, по точной, четкой мысли, по эмоциональному строю. Мне было радостно встречать в ней уже знакомые по прежнему знанию размышления, ощущать подтекст и погружаться в добротную фактическую основу.

По-моему, это очень нужная книжка: она легко соотносится с современностью, рождает второй план — раздумья. Не только о Бичер-Стоу, ее счастливом и гражданском долге. Имеющий глаза и голову прочтет книгу Вашу и пойдет по параллелям — о времени и о себе, о вечном, нравственном и эстетическом. О том, без чего нельзя жить и писать. Не знаю, как у других читателей, у меня же, уже при чтении, книга обросла густым ассоциативным рядом. Мне захотелось больше узнать о жизни героини — быте, духовной жизни. Помните, еще тогда, после прочтения коротенькой главки в „Семье и школе”, я говорила Вам, как увлекательно все, касающееся личности писательницы, ее семьи, умственной атмосферы, окружения. Мне кажется, Вы могли бы многое добавить к сказанному, не ужиматься в очерк — Вам явно тесно в этом жанре. Для ЖЗЛ написать, подробно и неспешно, без произвола сокращений. Очерк, конечно, получился очень насыщенный, очень питательный, но он так легко бы развернулся в большую книгу. Вспоминаю Ваши рассказы об издательских трениях и благодарна за то, что есть, но мой читательский аппетит разошелся всерьез. Переключка с русской историей, с событиями „гнусной российской действительности”, с русской культурой показались мне весьма плодотворны. Читала два раза, напишу в Маркс и Саратов — пусть ловят и покупают Вашу книгу. Почему такой маленький тираж и такое бездарное оформление? За исключением портрета, на обложке ничего знаменательного. „Лит-ка” от 9-го писала о бесцветности книжной графики, о вырождении этого искусства. На самом деле,

почему книжку напечатали на серой безрадостной бумаге и снабдили ее белесой с красным кантиком обложкой? Понимаю, что это от Вас не зависит, это попутно: „мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки...” Досадно, почему не подумали. Мне необыкновенно легко высказываться не по знакомству — по душе, по убеждению и прочтению. К счастью, у меня нет друзей, которые пишут плохо. Иначе не знаю, что бы я сделала. Погибла бы дружба. Я так рада Вашему труду, словно бы самой удалось написать что-нибудь стоящее или совершить хороший поступок. Вы же сделали и то и другое.

Володя Наумов, наш экскурсовод, проживающий в сторожке, в соседней комнате, привез нам песни Н. Матвеевой. Не помню, Вам ли я писала о своих впечатлениях о них. Если повторюсь, — простите. Мне она кажется менестрелем высокого класса, и музыка ее гораздо богаче, чем у других шансонье наших дней. Вы, наверное, сможете дополнить мое очень суммарное и скупое представление о поэтессе живыми чертами, если они Вам известны. Пожалуйста, напишите при случае.

К экскурсиям мы привыкли и даже стали находить в них известное удовлетворение. У меня накопились наблюдения над школьными экскурсиями и полной их неподготовленностью к восприятию музейной информации. Они слушают, но какой это труд тяжелый для большинства, какая неожиданность и какая заданность развлекательной программы! Как Вы думаете, может ли разговор на эту тему, статья заинтересовать журнал широкого педагогического профиля. Например, „Литературу в школе” или „Семью и школу”?

Летом и одной намного проще жить в селе, освободилась малая толика времени — вечерами, в выходные. Можно попробовать написать.

29 июля, 1971 г.

...впереди целый день, и еще день, и еще... Не надо торопиться, обрывать фразы. Я в сторожке, Маша еще спит, двери открыты и слышен шум листвы. Солнце просачивается через занавеску. На столе полевые цветы. Когда раньше мы с Машей говорили о возможности отдыха, я всегда ей доказывала, что при нашей отравленности работой, порабощенности обязанностями, лучший вид беззаботного отдыха — больница или больничный лист. Именно таким заслуженным отдыхом — (второй вариант) я сейчас и пользуюсь. В музее прошла тяжелая нервотрепачная неделя, полная тайного интриганства и детской подпольной войны. Весь год мне удавалось держаться в стороне от фракционности, мелкого склопничества, которое так часто бытует в мелких коллективах. Коррозия музеев. У меня не совпали взгляды на культурно-просветительную

работу музея с мнением директора о моей работе (в этом плане). В результате из „научных” я разжалована в экскурсоводы. Это у нас вроде штрафбата... Понимаю, большой беды нет, но давление все же подскочило. Чему я несказанно рада — так как на свободе, которой распоряжаюсь по-своему. Такой диковинный журнал — „Народы Азии” — в Тарханах не найдешь. „Семью и школу” и „Вопли”²¹ постараюсь достать.

5 августа, 1971 г.

Увы, все сложилось иначе, чем я себе представляла. Мой блаженной памяти бюллетень заполнился гостями, приехавшими из Киева. Мой старый товарищ, сослуживец по марксовской школе, женился и привез показать молодую жену и посмотреть Тарханы. Встреча была радостной, но исключила какие-бы то ни было занятия.

Поменялся молодежный состав второй комнаты сторожки. Уехали жившие в ней студентки из Свердловского университета — умные, интересные девушки. Теперь наши соседи — реставраторы, работающие над домовою церковью Арсеньевой. Уже две комнаты ее дома закрыты: выпадают существенные звенья экскурсий, трудно обойтись без рассказа о творчестве 38-40 гг. и последнем приезде М.Ю. из столицы. И вообще трудно вести разговор о Лер-ве под стук топоров и визг пил. Хотелось бы доработать август, в сентябре взять отпуск, съездить на неделю в Москву, а потом — в Маркс... Осталась бы я в Тарханах еще на год, если бы удалось пристроить к маме какую-нибудь престарелую (или не совсем) родственницу. Будущее пока темно и неясно. Обстановка молодежного общежития приятна и привычна, но книжные занятия и переписка очень страдают от перенаселения сторожки.

В теплую погоду ухожу за церковь — самое потаенное место 2-го мемориального комплекса. И ухожу по-прежнему в Шан-Гиреевский парк.

Финские домики, предназначенные для музейных сотрудников, растут, однако заранее можно предвидеть, какие разгорятся страсти при распределении комнат. Странно как-то прилаживать к усадьбе, парку и тому, что хранит память о Лермонтове, посторонние примеси. Есть в этом грустная непристойность, которую не удалось миновать.

11 августа, 1971 г.

...Началась уже так называемая реставрация парка. Вырубают молодые клены и старые акации, оголяются тенистые места. Очень жаль парка.

При зыбкости и переменчивости мира, в котором живем, трудно предполагать наверное какие-нибудь константы. Множество людей проходит каждодневно перед глазами: калейдоскоп лиц, характеров с очень ярко выраженными социальными градациями. Отношение к музею, экскурсиям, стихам проявляют душу или отсутствие ее. Чаще всего поражают контрасты, как всегда: есть паломники (меньшинство), охваченные „культурными мероприятиями” — огромное большинство и люди, совершенно не поддающиеся даже в малых дозах, обработке культурой, поскольку она им чужда. С детьми почти всегда можно найти общий язык, и проблема школьной экскурсии меня по-прежнему занимает.

14 октября, 1971 г.

Я — снова в Марксе 13 сентября. С 1-го работаю воспитателем в спецшколе, бывшей колонии, которая была и осталась детской тюрьмой. У меня отряд, 4 класс, где все переростки. Двадцать мальчишек. Я надеюсь обойтись в общении с ними без кулаков и зуботычин, привычных „воспитательных” приемов. Ношу им детские книги, читаю в свободные часы „Маленького оборвыша” Гринвуда. Борькина библиотека пошла в ход. На днях проведем лермонтовский „огонек”; мальчишки учат стихи и песни на слова Лермонтова. Материализация тарханского опыта. Дети, которые увидели жизнь с черного хода и копируют худшие варианты взрослой жизни. Их родители, семейный уклад — разрушение, распад человеческого, семейного и общественного общежития. Не удивительно, что их обращение друг с другом лишено идилличности, зоосадовской площадки молодняка. Культ грубой физической силы, одичание и неразвитость, умственная и нравственная, стойкость всех отрицательных понятий, разгул инстинктов... Тем не менее, испорченные дети все же лучше испорченных взрослых людей. В них смелее проглядывает доброе чувство есть непосредственность, искренность, возможность роста, перемен. Они любят петь, танцевать, ценят всякое несомненное умение, мастерство. И очень нуждаются в положительных эмоциях, просто в ласке и внимании к себе. В то же время нужно постоянно сдерживать буйство и хаос их подростковой стихии. Между прочим, мой Борис в том же диком возрасте, и наши понятия о главных ценностях в жизни весьма и весьма

расходятся. Причем своего воспитывать почему-то гораздо труднее, чем других детей.

Ближайшие полтора-два месяца буду перегружена работой: согласилась заменять заболевшую учительницу в ШРМ, вести 9-е классы. Неделю как вернулась с очередных похорон: ездила под Воронеж хоронить одного из немногих оставшихся родственников. Впечатление однорядное с событиями черного тарханского года. С ужасом вспоминала минувшее 15-е октября в Лермонтове: грязь, мрак, холод жесточайший, приезд артистов пензенской филармонии на лермонтовский вечер и прием, который оказал им наш пьяный вдрызг музейный директор. Кстати, нарастающие конфликтности в наших с ним отношениях закончились открытой враждой: мы, трое работников музея, уволились в один день. Машенька Ильина, я и девушка-экскурсовод, студентка литфака. Сторожка стала оплотом молодежной оппозиции, и ее разгромили, выкинув нас из нее в самом буквальном смысле слова: директор въехал на тракторе на заповедную территорию и приказал вынести все вещи прочь. Получился кадр из зарубежного фильма. Зато нас очень сердечно провожали музейные рабочие, все 19 человек. Они же и приютили нас в последние упаковочные дни. Теперь администрация музея за неимением оппозиционеров, вероятно, ест друг друга. Вспоминать не хочется, все это накипь, вроде прелестей сельского быта. Впечатления такого рода не совмещаются с главными, заповедными: музей, экскурсанты, парк, природа. На Волге стоят изумительные дни: солнечные, теплые, тихие, а утра — голубые, туманные. Свидания с рекой и осенним древесным роскошеством снимают физическую, душевную усталость, очень помогают восстанавливаться. Машенька, с помощью моих и своих друзей, устроилась в Саратове: есть постоянная прописка, работа экскурсовода в Радищевском музее. Все настоящее окрепло, случайное — рассыпалось. Теперь не знаю, когда я попаду в Ваш город, город Юлиана Григорьевича. Вероятно, не раньше весны.

У меня остался вкус виноватости от неумения ответить на письмо Вашей подруги — Л. Р. Кабо. В нем так акцентировалась благодарность за всякие мои слова по поводу полученной книжки, что мне подумалось: наверное, не стоит усложнять, и без того, видимо, сложную жизнь Любви Рафаиловны еще одной, возникшей как-то извне перепиской. Тем более, для нее отвечать на письма, судя по ее же словам, — процесс мучительный. Вот прочту где-нибудь, в журнале или газете написанное ею, и выскажусь. Читательский голос всегда почти, более или менее интересен. При случае скажите ей, что мой неответ — не от забывчивости или еще чего-нибудь плохого.

25 декабря, 1971 г.

С новым годом! Кажется, нет праздника, с которым было бы у каждого связано столько надежд и разочарований. Великий обманщик и лицемер Новый год, милый и приятный враль. А, может быть, он и не при чем, мы сами возлагаем на него все, что заблагорассудится. Или это отголоски детства, елки, подарков?

31 декабря, 1971 г.

А теперь почти канун Нового года. Завтра наш воспитатель улетает на сессию в Подмоскowie (Коломна), в Быково бросит это письмо. Быковский аэродром всегда принимает саратовцев. Область воспоминаний, действительно, стала минным полем. К чему ни прикоснешься — детонатор, того и гляди, сработает. Мне очень по душе пришелся Ваш дальневосточный прожект.²² Великолепно было бы, если бы он осуществился. Большинство людей умирает, не увидев ни разу океана, тропика, Козерога или Северного сияния. А те, кто имеет случай познакомиться с Заполярьем или тропической, заморской экзотикой, не умеют поделиться увиденным, извлечь пользу для других и себя из собственных впечатлений. Одно из обычных противоречий подлой действительности.

Мой микромир, на границе встречи-разлуки двух годов, наполненных заботами о детских судьбах, радостях и происшествиях в моем отряде, состоящем из 23 гаврошей. 24-й дома, точнее — уехал встречать Новогодие в Саратов. „Только детские книжки читать, только детские думы лелеять”.²³ Хорошо, что именно теперь это моя рабочая программа, служба. Пытаюсь детству вернуть детство, поскольку это от меня зависит. Любимые свои книги, стихи и песни вспоминаю, раздобываю, несу в спецшколу. На отбое, когда легче всего завязываются откровенные разговоры, мои воспитанники знакомят меня с жизнью, которую они знали до колонии. Очень интересны их рассказы. Постепенно складываются какие-то отношения со всем коллективом — 200 человек — и отдельными его представителями. Многие просят книг, бумаги (записную книжку, блокнот), просят научить играть на мандолине или гитаре. Разговоры о людях, о животных, о фильмах. О рискованных ситуациях, в которых почти каждому так или иначе пришлось побывать. Все это никак не предусмотрено официальными рубриками воспитательного плана, дневников наблюдения.

Нет ощущения потерянного времени, преследовавшего меня последние годы работы в роно. Живая плазма... Такое ощущение создают наши дети. Все (почти) пороки человеческие, но в ослабленном виде, как сыворотка для инъекции. Нет виртуозного лицемерия взрослых людей, но есть подступы к нему. И множество готовых проснуться возможностей к лучшему миру. Только где взять его?

В 12-м номере „Юности” Вл. Милинский слегка затронул тему отверженных детей, колонистов. Жаль, что ужался в статью или в какой-то диспут, непонятный жанр. Наверное, я Вам уже писала, суммируя, о своей задаче на этот рабочий год: сдать получше экзамен по практической педагогике в семье и школе. Читаю. В основном — зарубежных. Из всемирной — классиков, „Ино. лит-ра” — А. Хейли, Ремарк, латиноамериканцы, испанцы.

Саратовцев вижу редко, т.к. у воспитателей праздники и сдвоенные выходные не предусмотрены, да и им ко мне сложно добраться. Прочла книжку В. Некрасова „В жизни и письмах”, не слишком поразительную. Почувствовала повторную волну интереса к Ю. Нагибину после одного его рассказа о машинистке. Кстати, мне только что прислали его книгу „Переулки моего детства”.

Прошлый месяц прошел в заполохе — болели учителя, я их заменяла, потом — наоборот.

39

без даты

...Кроме детей, своих нынешних воспитанников, и своих бывших учеников я мало общаюсь с миром взрослых людей. Кажется, никогда еще я не жила так замкнуто, изолированно. Тарханы вспоминаются как мучительный и прекрасный сон. Читаю Ремарка. Он никогда мне не надоел повторяемостью мотивов. Жалею, что нет своей „Иностранки”.

40

3 марта, 1972 г.

...очень страдаю от своей немоты. Давно со мной не случилось столь затяжного кризиса, и я с ужасом представляю, к каким последствиям он приведет: все меня справедливо забудут и откажутся писать в безглагольное пространство.

...Работа в спецшколе и дома настолько обездушивает, отупляет усталостью, что все шлюзы, способствующие обмену информацией (хотя бы!), какими-то соображениями или эмоциями, плотно сдвинуты,

закрыты наглухо. Вообще вся я заперта на сто замков.

Работа в режимном учреждении рождает множество параллелей, чему немало способствуют злоключения саратовских друзей.

...Перемещение в Тарханы и обратно, в Маркс, лишило меня преимуществ человека свободной профессии. Пока я еще плотно прикреплена к своей воспитательной должности и, надо признать, общение с детьми, даже самыми запущенными, доставляет по-прежнему больше радостей, чем взрослое окружение. Только что провели антифашистский вечер. Я рассказала двум отрядам, мой — 26 человек и приглашенный на вечер, соседний — о Януше Корчаке, Анне Франк, о лице фашизма последней войны... Эпидиаскоп и проигрыватель обеспечили зрительные и музыкальные впечатления: портреты Анны Франк и Корчака, дети блокады, их рисунки, дети концлагерей...

У И. Бехера есть стих. „Башмачки из Люблина”, очень большое. Хватило его на весь отряд. Башмачки всевозможных фасонов рисовали, раскрашивали мои воспитанники. Получился естественный литмонтаж, прочитанный в полутьме (в светлом круге — сменяющие друг друга башмачки) под проигрывающую изредка, просачивающуюся музыку — траурный хорал Моцарта. На этом же вечере присутствовал Моабит, стихи Мусы Джалиля, несколько военных песен Окуджавы (пели, разумеется, наши ребята). У нас скоро будет вечер стихов Окуджавы, автор пришелся нам по душе. Нежданно-негаданно пригодилась моя мандолина, под нее легко разучивается любая мелодия. Так мы обрели музыкальную независимость.

Вспоминала я раз слышанную поэму о Я. Корчаке, так хотелось бы ее иметь. Т.к. любая школа отражает особенности своей страны (спецшкола — в гипертрофированном качестве), в отряде, кроме нравственного и эстетического воспитания, усиленно занимаемся и политическим.

Я выбираю тематические политинформации. Одна из тем — разговор о Мартине Л. Кинге. Отыскала в „Пионере” Вашу статью, она произвела впечатление. Ребята и слушали хорошо, и сами ее читали.

...Еще мне хотелось бы рассказать им об А. Швейцере. У меня есть о нем только единственная тоненькая книжка Г. Геттинга и старые газетные вырезки. Книжку Носика в ЖЗЛ не читала, она не приходила в Маркс. Саратовцы считают ее средней по исполнению, но по материалу она бы очень пригодилась.

...В полную меру я поняла трагическую зависимость человека от житейских обстоятельств только в последние годы. Много примеров прошло перед глазами, включая собственный опыт.

Давно не встречала в печати имени Л. Кабо. Может быть, я что-то пропустила? В „Лит. газете” сплошные скучности и гнусности, в журналах, кроме „Нового мира” и „Ино”, ничего порядочного не читала.

...Появилась надежда побывать в Москве в мае. Неожиданно получила письмо из ЦИУУ с предложением сообщить до 20 марта, когда я

смогу прислать реферат, о котором речь шла еще в 1970 г. При московском ин-те усовершенствования учителей есть очно-заочные курсы. Ради того, чтобы побывать в Москве и повидать друзей, стоит написать десять рефератов, не только один.

41

осень 1972 (без даты)

...Сегодня ровно месяц как я похоронила маму. Новость не совсем подходящая для поздравительной открытки. Надежды на свидание в мае рухнули самым катастрофическим образом. Я не смогу оставить одного Бориса — он в самом переходном возрасте, деревенская школа (Лермонтовская) оставила весьма существенные пробелы в его и без того шатких познаниях. Даже если предположить невообразимое, что зав. облоно даст мне рекомендацию в ЦИУУ, я не смогу рисковать учебным годом сына. Именно в мае решается его школьная судьба, его война с математикой. С Володей восстановлена связь. Он недалеко от Орджоникидзе, работает и учится заочно, кончает среднюю школу.

42

5 октября, 1972 г.

...с первого дня возвращения в Маркс, закружилась в бытовых и рабочих делах. Закружилась и впала в апатию от безнадёжности что-либо успеть в срок.

Долго не могла избавиться от впечатлений заброшенности и запустения своего жилища. Сад весь опал и пожух от непрерывного зноя, весь урожай ушел в землю за своей хозяйкой. Сад — мамино возвращение, сила и забота. Мы же с Борькой умеем лелеять только мотоциклы и книги, да бесполезные лесные растения. У нас пышно цвели одуванчики, и лопухи достигали гигантских размеров, но и они не выдержали жары. Уцелели лишь заросли лебеды и дикой конопли. Вот и теперь я пишу Вам, валяясь на раскладушке в саду, в лебединых владениях. Сентябрь выдался грустный, теплый, свежий и сладостный. Если бы не огромных размеров трофическая язва, которую я ухитрилась приобрести на больной ноге, я бы продолжала свои поздние купания, любимые издавна.

Кроме каждодневных, будничных впечатлений, у меня была в самом начале сентября недельная поездка в Майкоп. Командировка прошла бесславно, т.к. воспитанник, которого я должна была вернуть в светлое лоно спецшколы, убежал. Он убежал ото всех, убежал и от меня,

но почему-то меня это поразило буквально до лихорадки (вернулась и заболела). Бюллетени (еще один — прозаическая ангина) несколько отодвинули от меня работу, чему я радовалась, не умея сразу настроиться после Москвы на деловой лад.

43

21 ноября, 1972

...Кое-кому очень хочется выжить меня из спецшколы немедленно, однако я твердо решила доработать до законного отпуска. Плохо, что за отрицательное отношение непосредственного „воспитательного” начальства страдают ребята, мальчишки из моего отряда. Их очень теснят, заметив, как живо на мне отражается любая несправедливость в их адрес. Все же со мной им лучше, интереснее жить, и я останусь с ними до лета. Я уже поняла ограниченность своих рабочих возможностей в Марксе и Саратовской области, этот же год надо дотянуть. Тем более, что мой непутевый сын должен окончить 8-й класс. Если бы я сама находилась в более активной фазе, давно бы пора начать какие-то поиски.

Прибалтикой заинтересовала меня моя бывшая ученица, которая 8-й год преподает литературу в латышской школе. Мы виделись с ней в августе, она хорошо отзывалась об условиях работы. Мы даже договорились, что она поищет мне место на побережье. По паспорту я латышка, отец был коренным рижанином, а я совсем не знаю его родины.

Интересуясь новыми методами, я делала это крайне вяло, без внутренней веры в успех поисков. И не по отсутствию энергии вообще или нерешительности (решения я принимаю быстро, хотя, как правило, они лишены благоразумия), а по глубокому внутреннему безразличию, которое мне никак не удается преодолеть.

По литературе, преподаванию ее, я, разумеется, скучаю. От своих коллег знаю, что школьные программные трудности все возрастают. Лучшие учителя мечтают расстаться с нею. И все же живое слово должен кто-то нести.

...Структурализм тоже мне не доступен, несмотря на восторженную оценку его лидеров.

...Об А. Ст. и Б. Я. я писала Вам.

...В Саратов приезжаю чрезвычайно редко. Почти месяц сижу дома, на больничном. Из похода летнего привезла трофическую язву на ноге, запустила ее до безобразия, а теперь хирурги держат меня на бюллетене.

лето 1972 г.

Пуститься в капитальный переезд в этом году по многим причинам, тоже капитальным, я не могу. Надо, чтобы Борис, при его отношении к наукам, закончил 8-й класс в Марксе, где знают его и меня. Кроме того, для перебазирования нужна малая толика денег, которые надо научиться иметь.

Моя теперешняя работа оставляет ощущение дела, уже потому все можно выдержать. Она дает весьма ощутимый материал по человеко- и обществоведению, будит размышления, часто полосует по самому живому. Это тяжело, но это же и хорошо. Кое-что я записываю. Интересную вещь мне сообщили в Тарханах: мною интересовалось московское экскурсбюро на предмет взятия на работу. Новость очень интересная, в ближайшее время я выясню, насколько она легендарна или реальна.

Пишу я так отвратительно, потому что атакуют со всех сторон муравьи и всякие букашки (пишу... в саду). Примчалась сюда сломя голову на мотоцикле, и в первый же день заболела, отравившись рыбными консервами. Теперь постепенно оживаю. Здесь дуют буйные ветры, выпадают дожди, и парк красуется и шумит, не умолкая.

Приняли меня в Тарханах самым радушным и разлюбезным образом, что даже удивило меня несколько, если вспомнить отъезд. Я рада, что человеческое начало и какие-то добрые воспоминания восторжествовали, потому что отторгнуться от Тархан не могу: они вошли в меня навечно.

По сравнению с выжженной солнцем Саратовской областью Пензенская встретила меня зеленью, прохладой, урожайными полями. Отправилась в путь я на мотоцикле (новом!), сейчас думаю вызвать еще Бориса и, если все сойдется по-задуманному, 15-го выехать в Москву. Своим ходом мы дойдем до озер, там живут мои марксовские добрые знакомые, оставим мотоцикл и на электричке — в Москву. Единственная цель посещения столицы — увидеть Вас, друзей-москвичей, побывать на могиле Юлиана Григорьевича. По скудости времени и финансов (мотоцикл!) я долго колебалась, прежде чем принять такое решение. Но врожденное неблагодарное, тоска по людям и дух бродяжий одолели. В Саратове новости невеселые...

...Сейчас по аналогии внутренней вспомнились некоторые мотивы номировской последней книги Ю. Крелина: о том, что злом бороться со злом нет смысла. Только территория, занятая добром, не дает произрастать инородному. Эта мысль мне чрезвычайно близка.

декабрь 1972 г.

...Где-то около Нового года, в конце или после, я выхожу на работу. Ребята меня заждались. Бледные, почти совсем не дышали воздухом, без воспитателя их за зону не выпускают. Жалуются, что нечего читать и не дают рисовать. То и другое обычно у нас в обиходе. Сознание нужности среди них не оставляет, поэтому зимние месяцы должны пройти быстро. А весной приходят на помощь дороги и природа. Еще один трудный год скоро окажется позади.

Из Латвии мне прислала моя ученица разговорник, карту и книги латвийских писателей и поэтов, печатающихся на русском языке. Решила исподволь познакомиться с тем, что увижу летом. Пока я не вижу разницы — Латвия ли, Эстония. Такое все неведомое, незнакомое.

Журналы, о которых Вы пишете, еще не смотрела, но непременно прочту Быкова и Семина. Недавно купила однотомник Васильева „А зори здесь тихие”. Кроме первой, самой лучшей, в нем еще две. Автор — человек верующий в силу добра. Так отрадно бы полностью присоединиться к его вере, вере гонимой и скорбной. Романы из школьной программы, которые я читала (преимущественно) два месяца кряду, убеждают в том же. Наша же родная действительность вырывает с корнем всякие представления о добре. Наверное, скорое возвращение в рабочее лоно настраивает меня так скептически и мрачно, п.ч. спецшкола, как и взрослая тюрьма, не способствует развитию оптимизма.

3 июля, 1973 г.

В Загорянке... задержалась на два дня из-за ремонта мотоцикла, на котором в мое отсутствие гонялись всякие безответственные типы. Я написала в Липаю авиаписьмо из Москвы. Ответа пока нет.

До Саратова добиралась сложно: два дня мокла под дождями в градом, от Пензы поездом, т.к. кончился асфальт. 30-го отправила Бориса в Студенческий стройотряд, прорвалась удачно, между двумя ливнями, в Маркс и наконец, дома, после благословенного латвийского климата тяжело переносу здешний, с суховеями и душной жарой. Даже приболела слегка: вместо привычного повышенного, давление упало ниже нормы, 5-го должна выйти на работу. Лежу, читаю, начинаю писать друзьям. В Марксе тускло, бесцветно, скучно. Совсем нет людей, одни социальные категории. Жду к себе Машеньку, которая идет в отпуск с начала июля.

29 августа, 1973 г.

...не желая проваливаться в небытие молчания, я все же опять там побывала. Как в плену, как в чужеземной стране, я заставаю в молчании, на безотрадных ее континентах, куда не доходят голоса друзей: единственный, но решающий контрголос, разлучающий с ней.

...со дня на день поджидала какой-нибудь деловой конкретности из Сабиле, где живет моя ученица. Она и ее подруга, тоже учительница, летом были в Марксе. Мы виделись не раз и договорились, что с места, вернувшись, они просигналят, есть ли возможность трудоустройства в их районе (райцентр — Талсы). Увы, Гуна, эпическая личность, никогда и никуда не торопящаяся, она отправила мне сообщение о месте в Дундаге письмом, которое шло по неизвестным мне причинам ровно 10 дней!

13 августа в Дундаге нужен был литератор, а 23-го я дала три телеграммы: в школу (там 10-летка), в Талсы и Вам. Думала, что не позже понедельника-вторника кто-нибудь отзовется. Остается предположить, что место занято. Школа, по описанию, находится в старом замке (одно это меня пленило), мне бы дали пока комнату в интернате. Школу вскоре построят новую, также — дом для учителей. Главное, до моря — 18 км! Я уже вполне настроилась на эту Дундагу, но видать, бесполезно.

...Лето кончилось мгновенно. Марксовские пляжи и волжские уголья вызывали у меня прощальную нежность, которая вылилась в конце концов в весьма прозаический бронхит (сейчас я на больничном до 7-го). Нежность и жадность меня слегка подвели, но диагноз не мешает мне ездить на мото и приближаться к воде (не могу без купаний, пока река не замерзла), поэтому я так хочу жить в Прибалтике ближе к морю: водяной, водоплавающий человек.

У меня провела свой отпуск Машенька Ильина (помните ее?), вообще перебивало множество молодежи. Всех повидала — учеников всех выпусков, и самых различных должностных рангов. Вдруг замаячила слабая надежда на переход в медучилище, где есть литература и эстетика. Я не верю в нее, хотя директор училища — из моих молодых друзей. Эта работа несколько освежила бы меня и задержала в Марксе еще на год, не более. Боря окончил 8 классов, пошел работать на завод учеником токаря и поступил в заводской вечерний техникум. Месяца три понадобится для получения разряда. В случае переезда с ним будет жить кто-нибудь из моих друзей, а я поеду налегке, отправив пару ящиков книг.

Вполне эгоистическое письмо, но из которого еще не видна главная моя боль: ребята из спецшколы. Мой отряд расформировали, разбросали по трем разным, а мне дали новый. „Распроданы поодиночке!”

Психологически это варварство облегчает мне уход, но мальчишек жалко. И стыдно, и яростно, что ничего нельзя изменить. Мало того, что нас второе лето обманывали с лагерем, прогулками и походами, так теперь нас уничтожили как целое, раздробили, разметали! Я уйду из этой мерзкой тюрьмы и напишу об ее палачах и тиранах.

48

начало 1974 г.

...Я всего-навсего работала в средней школе. Правда, много лет и все время — в старших классах. Два года вела курс эстетики в профтехучилище (по совместительству). И два года чисто педагогической работы в спецшколе — воспитателем. Гороновская деятельность не в счет, инспекторство раз и навсегда отвратило меня от бюрократической шелухи.

По-началу я даже обрадовалась: отлежусь, отосплюсь, покончу с ненавистными домашними делами. Они же плодятся и множатся, и я имела еще один случай убедиться, что домовитой ключницы из меня не выйдет. Читала „Иностранку”, „Нов. мир” („Разбитую жизнь”, романы из школьной программы. Воюю с Борькой, наблюдаю мирную жизнь своих животных (две кошки и две собаки, причем одна из них совершенно голая, больная, с улицы). С удовольствием великим читаю книжки Даррела, нашего И. Акимушкина. Его „Мир животных” столь же недосягаем для меня и желанен, как „Швейцер” Носика.

Спокойно болеть можно, вероятно, только в аварийном состоянии, „когда лечить уже поздно, а хоронить еще рано” (В. Инбер). Я еще не совсем достигла этого блаженства, поэтому заброшенный, обездоленный мой отряд маячит у меня перед глазами. Они, мальчишки, пленники, не могут до меня добраться. Навещают меня немногие и верные друзья.

49

28 февраля, 1974 г.

...В отпуске я с 5 февраля. О его получении узнала за день, да и то случайно. К полной беспардонности начальства за три года почти привыкла: оно иначе не умеет. Совсем по Ильфу и Петрову: „Характер руководства — полное неуважение к своим сотрудникам”.

Живу пока безвыездно в Марксе, даже в Саратов не ездила. Держит в плену пещерный быт: печки, старый дом, из которого тепло улетучивается мгновенно. Не могу оставить Бориса и животных в хладе и гладе. В марте потеплеет, можно будет обойтись одними дровами, без угля, и

тогда я непременно появлюсь в Москве. Хотя бы на неделю, если на больший срок не получится. Возможно, к лучшему мой зимний отпуск. Летом время невольно бы расплылось: Волга, дороги, мотоциклы. Сейчас оно концентрируется на доме, главное же — на писании.

...Больше не в силах уже молчать. Впечатления такого рода, что утаивать их преступно. Три года — достаточный срок, можно во всем разобраться, проверить многократно истинность своих представлений на практике. Сейчас я вроде перенасыщенного раствора на стадии кристаллизации. Пока не думаю, на какой предмет пишу, без определенного адреса и заявки. Лишь бы выговориться сполна, точно и честно. Я давно знаю, как вредны и отвратительны полуправды.

В „Москве” №1, 1973 г. прочла фальшивку О. Гончара повесть „Бригантина”. Все, от названия и до последней строки, — голая ложь, и отдельные правдивые штрихи при общей ложной концепции, при обилии недоговоренностей не спасают.

В солнечные дни хожу на лыжах или колю и пилю дрова во дворе — единственный вид хозяйственной работы, любимой с детства. Оказывается, зима выпала хмурая, а я соскучилась по солнцу. С тех пор, как стала засиживаться за письменным столом, читаю мало. В основном пробавляюсь 19-м веком. Первые недели февраля были такими тревожными,²⁴ да и после 13-го не лучше. Невозможно привыкнуть к тому, в каком мерзопакостном мире живем. Чтение газет не прибавляет оптимизма. Мои планы относительно Маркса не изменились. Надо ставить точку. Писать не стану об этом, лучше обсудить возможности, если они есть, при встрече.

Мое тяготение к морю одобряют врачи. Они говорят, что с таким горлом, как у меня, надо работать не учителем, а бухгалтером. В общем, быть не на говорящей должности. Мне кажется, связки голосовые пришли в такое жалкое состояние из-за моих вокальных упражнений с мальчишками. Музыработник один на одиннадцать отрядов, чтобы не зависеть от него, пришлось вспомнить детское увлечение — мандолину и показывать все голосом. Даже кружок у нас был — ПИМ (поэзия и музыка). Его упразднили также легко, как меня отправили в отпуск в самый разгар „учебно-воспитательной работы”. Этот методологический термин не сходит с языка руководящих работников, расцвечен на всевозможных стендах в учительской, а по фактическому наполнению равен нулю. Удивительно, как никому из нас не хочется добираться до сути дела, хотя бесконечные совещания проводятся вроде бы для пользы дела. Лучше я перестану говорить о своей работе — от нее отпуска в мыслях и занятиях все равно не имею.

...Так хочется радостных известий и каких-нибудь хорошестей! Невыносимо узнавать про несчастья близких без возможности участия или помощи. Непременно надо иметь какую-нибудь опору вне себя, знать, что где-то идет все по-людски, нормально и счастливо.

Почему-то из Ваших друзей, из лиц Ваших друзей я часто вспоминаю одно женское. Это блондинка с темными глазами, с умным и мягким взглядом, очень внимательным. По-моему, Вы ее называли Вера. Она живет в Вашем доме, переводчица. В Тарханах чаще встречались лица людей из числа посетителей музея. В Марксе почти нет лиц. Т.е. есть, но „подобие жалких лачуг”. На вечерних сеансах в кино бывает страшно — так реагирует зритель на интимные сцены. Кажется, зал полон убийц. При ярком свете то же впечатление. Здесь большинство знает друг друга, как в деревне. Знает, что покупают на базаре и в магазинах, кто с кем встречается, как празднуют, где работают. „Как” - деталь второстепенная. Здесь знают, что от кого ждать. Человек известен по главным параметрам и неожиданностями, вроде бы, не располагает. Совсем законченный, слепленный и, словно бы, умерший человек. Страшно видеть, как до конца определились судьбы моих бывших учеников. Тех, кто ходил на кружок и в походы, имел свою поэтическую страницу в юности, кончал ВУЗы, начинал в НИИ... Теперь в Марксе — устойчивый провинциальный быт, хождение в гости по субботам. Ученики получились разными (по специальностям): медики, учителя, инженеры, технари и просто рабочие. Один даже бывший университетский филолог — первый секретарь горкома ВЛКСМ. Даже в спецшколе неожиданно обнаружился ученик по заочной школе, физик и математик. Все сожалел, что я больше не преподаю литературу, словно бы это от меня зависит.

С некоторыми время от времени я встречаюсь, даже подружилась с их друзьями, но в целом — грустно. Сколько бродило в каждом, когда они сидели за партами, сколько погибших возможностей! Может быть, они прорастут в их детях? Я до отказа забита впечатлениями провинциальной жизни, которую, кажется, теперь узнала на самом деле, — и работы. Радуют немногие и редкие саратовские встречи, природа — источник незатухающих восторгов, звери, книги, музыка. В общем, жить еще можно. Если бы почаще в Москву ездить, да к синему или серому морю перебраться, тогда совсем можно.

50

28 февраля, 1974 г.

Я впервые в жизни в зимнем отпуске. Хорошо еще, что на сломе зимы. И в лесу и просто на наших заснеженных улицах пахнет весной, а сладкие февральские морозы только усиливают ее запахи. Солнце такое, что хоть загорай, а на Волге великолепный наст. Иди, куда хочешь без лыжни. Зимой у нас везде чисто, бело, просторно. Под окном у меня веселый сиреневый куст, весь в сосульках и птицах. Они всю зиму кормились из кормушек (мальчишки сделали), куст для них — дом родной,

а для меня щебет и радость.

В доме живут три собаки, мама и ее сыновья. Кот Маф. В этом благородном обществе я и провожу отпускные дни. Еще в обществе письменного стола... Не знаю, каковы будут результаты, пока меня мало это занимает, но по письменной работе я стосковалась, а главное, что называется, подперло, подошло под самое горло. Неприменно надо выговориться, выписаться. Материал таков, что рассказывать изустно неловко, стыдно: „так не бывает! не может быть!” — реакция слушателей. А я среди этого „не бывает” живу третий год. Не могу не верить своим глазам, ушам, не доверять своему восприятию. Тем более, что у меня нет никакой адаптации к привычному злу. Оно колетса и жалит постоянно, а кожа, вместо того, чтобы задубеть, становится все чувствительнее.

Раньше в работе учительской был свой громоотвод — литература, да и преподавала я все-таки в обычной школе, не „спец”. Теперь мне труднее далось бы преподавание в старших классах. Много перечитано и пересмотрено другими глазами. Вместо учебников и спасительных (или губительных) текстов — судьбы детей, педагогика в чистом виде при постоянном враждебном сопротивлении взрослой среды. Короче, я хорошо знаю, о чем надо писать. „Как” — компановка, структура, т.е. композиция и прочие строительные тонкости, наверное, меня коснутся и заставят покорпеть, но все это впереди. Пока содержание вытекает на бумагу само собой, произвольно, и я не успела еще устать, а только радуюсь, что обрела наконец-то голос. В остальном, кроме общения на бумаге, — эпистолярный жанр тоже возродился! Живу раком-отшельником.

Из всех разнообразных марксовских знакомств выкрепили в дружбу отношения с двумя учительницами-ленинградками, Бог весть с каких лет заброшенных по распределению в Маркс. Они работают тоже в „спец” педагогическом учреждении полузакрытого типа — интернате для слабо-видящих детей. Таких всего четыре по Союзу. У обеих репутация не от мира сего интересных чудачек. Обе очень хорошие учительницы, прекрасные люди с тяжелой судьбой.

И еще у меня очень тесная связь с народом — приятельство с моим давним механиком, спасителем моей техники. Он бывает у меня часто, почти ежедневно, так свой мотоцикл ремонтирует на моей территории, потом наступит черед моего Мотл. Из „Литературки” я знаю, что писатели взяли шефство над рабочими коллективами и творчески общаются. Василий же взял шефство над моим транспортом, заодно учит меня, как надо жить на белом свете, знакомит с механизмами, что я особенно ценю.

Борька тоже помешан на мотоциклах. Работает на заводе, учится в вечернем заводском техникуме тяжелого машиностроения, но мечта его — стать шофером-дальнорейсовиком.

Личный мой опыт и опыт моих друзей-учительниц не убеждает его в преимуществах образования. Пока он твердо убежден в преимуществах физического труда. Он еще не вышел из того возраста, когда любое

доказательство и положение, высказанное взрослым человеком, подвергаются осмеянию.

Эта повесть без названия была начата Людмилой Магон незадолго до смерти. Повесть – как видно из ее записных книжек и писем друзьям, документальна.

Сразу не понять, почему отпуск, полученный в феврале, воспринимается трагически. Отпуск как отпуск. Или праздничность соединяется непременно с „роскошеством и упоительностью” июльского дня? С рекой и дорогами, с не менее упоительной для мотобродяжьего уха музыкой хорошо отрегулированного мотора? Возможно. По крайней мере, для меня раньше, точнее – до этого года, отпуск, праздничность, лето и дороги тоже представляли единство. С этой точки зрения, выражение „отпуск в феврале” звучит абсурдно. Когда же об отпуске узнаешь за день до его получения, да и то случайно, на ходу, как бы через плечо брошено сообщение, представляющееся тебе таким важным... Не даром же отпуск дается один (один-единственный!) раз в году. Когда о нем говорят, чуть ли не смущаясь (с чего бы это?), не глядя в глаза, а в сторону, в угол... Когда этих „когда” набирается слишком много для простого и единственного праздника – отпуск ведь! – становится несколько не по себе. Тебе сочувствуют некоторые сторонние наблюдатели, почти соболезнуют: „Отпуск в феврале! Ни пойти, ни поехать... Надо же!”

Главного же „когда” никто не замечает. Никто не догадывается о нем, не думает, не подозревает даже о его существовании. Почему-то никому не приходит в голову всмотреться в суть явления, а она лежит на поверхности, она обнажена, как и масса других явлений, мимо которых мы слепо и глупо проходим ежедневно в своем упрямом недоумении.

Отдых? Да, отдых – это очень важно. Отдых это жизнь для себя, для восстановления себя. Жизнь для близких людей и любимых занятий. Отпуск – отдых... Освобождение от навязанного регламента, от враждебного себе ритма жизни, от служебного изгойства и бандерлога мерзких лиц.

Отпуск – отдых – свобода... День становится длиннее, потому что принадлежит тебе весь, без остатка. Утро прекрасно: его не съедают совещания, бессмысленные и бесстыдные, как короста.

В феврале уже пахнет весной... Особенно в оттепель, когда снег липнет к лыжам и звонко свищут синицы, а солнце оставляет на коже почти мартовскую смуглость. В феврале сочетаются зимний лес и весенние запахи... Отпуск в феврале мог бы стать чудом, если бы не главное „когда”.

Когда пришлось поделиться новостью с отрядом, настало траурное затишье. Детские глаза приметливы, от них не скроешься. Шестнадцать пар глаз широко открылись, шестнадцать лиц обратились к лицу воспитателя. Они прошупывают его взглядами, будто в знакомом выискивают незнакомое, — какую-то беду, угрозу, хотя и делают это безотчетно. Высматривают затаенное: принужденность, умолчание, что-то еще, совсем уж непонятное. Если бы владельцы лиц и глаз не знали точно, совершенно определено, что их воспитатель никогда не плачет и вообще далек от слишком откровенного выражения чувств, они заподозрили бы его в гиперчувствительности, в скрытых слезах, которые уже почти вышли на поверхность. Трудно воспитателю. Он почему-то не смотрит в глаза ребят, словно совершил нехороший поступок или обманул их доверие. Слишком опасен этот прямой разговор — глаза в глаза, слишком многое можно прочесть внимательным взглядом, поэтому воспитатель мельком бросает его на лица, пробегает по ним, словно ветерок по верхушкам деревьев. Грустно, всем очень грустно! Все чувствуют: теперь пойдет другая жизнь, и молчание взрывается вопросами.

— А как же концерт? А репетиции? В клубе редко, а мы привыкли каждый день!

— Когда вы вернетесь?

— А разве воспитатели уходят два раза в году в отпуск?

Ребята хорошо помнят, что летом воспитатель уже был в отпуске. Приходится пояснить, почему отпуск дан в феврале — он пойдет за новый, 1974-й рабочий год.

— Значит, вы летом никуда не уедете?

— Нет, никуда не уеду. Мы все работаем: будем делать пристройку к школе, чтобы открылся 8-ой класс.

Новость явно не доходит, как все отдаленное. Необходимо выяснить сейчасшнее, близкое, от чего надо отрываться.

— А приходить к нам будете?

— Чего мы станем читать? — У-у-у! В библиотеке нет хороших книг, нам все равно не дадут!

— А как же ПИМ? (Кружок поэзии и музыки)

— Мы разучимся играть!!

— А лыжи? Кто с нами пойдет на лыжах?

— Значит, фотографироваться не будем?

— Мы же не дочитали „Оливера Твиста“!

И после всех объяснений, казалось бы, вполне исчерпывающих волнение, опять нелогичный вопрос:

— А зачем вы теперь уходите в отпуск? Вдруг на совсем уходите...

Чтобы разрядить уныние, запущен зонд радостных надежд. Как он высоко подымется и где опуститься? С кем?

Воспитатель говорит, взбудораженность утихает.

— Замдиректора по воспитательной части утвердил нашу поездку в Тарханы. Так что, пожалуйста, не забывайте стихи. Повторяйте и перечитывайте Лермонтова. Планируется еще одна поездка — в Волгоград. Поедут лучшие. Нечего вешать носы!

Воспитатель ни слова не сказал о лагере. Третий год он работает здесь, в этом закрытом учебном заведении для мальчиков — трудных мальчиков! — и два лета вместе с воспитанниками верил в летний отдых на „лоне природы”, мечтал о лагере в лесу или на Волге. Теперь соловьиные трели директорских обещаний утратили свой магнетизм. Он не верит им и не хочет участвовать в прямом обмане. А в косвенном? Разве можно верить бабе Яге? (Так он про себя окрестил с первых дней работы замдира по воспитательной части — свое непосредственное начальство). Баба Яга ведь тоже любит разные слова вроде „лоно природы”, „наши дети”, „культурный досуг”. Не меньше канцеляризмов, которые прямо-таки обожает, дышать без них не может.

Тарханская поездка еще прошлым летом отнесена была ею к „оздоровительным мероприятиям”, но с успехом заменилась еще более здоровым „мероприятием”: хозработами на строительстве директорского дома и домов сотрудников спецшколы. „Наши дети” расчищали дворы, вывозили строительный мусор, месили глину, таскали кирпичи и доски. Возвращались до чертиков усталые, но на хозработы рвались: после трудового дня им разрешалось искупаться в речке, а ради этого стоило попотеть. Выходы за зону всегда высоко котируются у воспитанников спецшколы, а в каникулярное время особенно. Занять себя абсолютно нечем. Жара. Чахлые деревья напоминают веники, которые заготавливаются осенью впрок. Живой зелени, тени почти нет. Пятачок территории знаком до омерзения, привычные ориентиры, вроде туалета не радуют. Куда деться? Походы, прогулки, купания, поездки домой на каникулы, короче, — все разновидности летних выходов за зону, кроме как на хозработы, — отменены. В приказе директора сказано ясно: из-за побегов. Убежал один из отряда — весь отряд лишается выхода и каникул. Так оно и было. Это реальность. А „прогулки, походы, купания” — мечта, красивое обещание, сладкая ложь. Побег тоже реальность. Они происходят круглый год, и нет оснований не ожидать их в ближайшее лето. Все эти трезвые рассуждения и виды, пока он сидит в „преисподней” (ближний склад в подвальном помещении) и сверяет наличие отрядного имущества с записями в приходно-расходной книге. Один вид этой тощей книги с мухоморными желтыми листами наводит уныние. Так и ждешь на странице рисунка распятой огромной мухи, как на замоченном в блюде ядовитом листе. Вместо черных мух на табачного цвета бумаге аккуратно располагаются записи и цифры: столько-то матрацев, подушек, наволочек, простыней... Одежда шерстяные, одеяла старые, подшитые с покрывалом. Брюки школьные, брюки х/б, гимнастерки, рубашки х/б.

Перечисляется все, что одето на каждом подростке, вплоть до трусов. И все, что есть в спальнях, на коллективе, за исключением половых тряпок. Очень жаль, что тряпки не заприходованы. Может быть, тогда бы их хватало, а без мухоморной книги порядка нет: тряпичная проблема неразрешима. Из-за тряпок ведутся бои при каждой уборке, то есть трижды в день. Лучшими тряпками считаются по справедливости вафельные полотенца, однако за потерю полотенца, даже ножного (это тряпка, не пригодная для мытья полов) снимают баллы. Баллами же определяется вся жизнь воспитанника, поэтому мытье полов вафельными полотенцами — недостижимый идеал каждого дневального. Второе место по качеству и удобству при уборке спален занимают старые байковые одеяла. Тряпки из них также ценятся чрезвычайно высоко и выдаются старшим воспитателем особенно отличившимся воспитанникам. Как бы в награду и поощрение. Но торжество счастливых обладателей байковых тряпок обычно бывает недолгим и заканчивается, как правило, горьким разочарованием: из общей коптерки при спальном туалете хорошие тряпки воруют. Наутро их надо разыскивать и долго и убедительно доказывать персональную принадлежность тряпки владельцу. Тряпичный конфликт разрешается, подобно остальным в спецшколе, чаще всего силой. Кто физически сильнее, тот и прав. Наконец, третью категорию качественных поломоных тряпок составляют трико, низ или верх бумажного трикотажного костюма. Спортивные трико находятся у физрука, выдаются по редкостным дням для занятий гимнастикой или какими-нибудь соревнованиями, и уж, конечно, заприходованы, поэтому пропасть никак не могут, тем более, что хранятся они в спортзале за тремя замками.

Зато беззащитными остаются беззамочные собственники личных трико. Есть еще на свете наивные мамы и бабушки, которые в посылках, вместе с конфетами и печеньями посылают сыну или внуку трико. Очень скоро оно исчезает из поля зрения воспитанника и даже бдительных воспитателей, которые „бдят” за казенным имуществом, — за личное ведь они не отвечают, не расписываются в мухоморной книге! Иметь личные вещи в спецшколе могут лишь „бугры”, то есть командиры. И — будьте уверены! — они их имеют. Не всегда тактика командира — грубое насилие. Формы насилия разнообразны. Здесь все зависит от изобретательности и находчивости того, кто их воплощает. Вначале личную вещь просят „поносить”. Постепенно она обходит приближенных командира и оседает у него. Если принципы демократизма сильны в отряде, то личную рубашку, свитер или трико по очереди надевает почти каждый, но к хозяину она возвращается редко. Другое дело, когда подросток достаточно силен, чтобы постоять за себя. Тогда личная вещь приобретает еще добавочную меновую ценность: две пары синтетических носков можно выменять на шерстяные, красивую рубашку — на поношенный свитер и т. п. Иногда бумажный свитер или трико идут за две сигареты. Но это в теплое время года, поэтому меновая стоимость не имеет твердого эквивалента.

Нельзя сказать, чтобы с личными вещами не велась организованная борьба, помимо партизанских, разбойнических набегов самих воспитанников. Личные вещи запрещены в спецшколе циркулярно официальным порядком, они вполне бесправны — в гораздо большей степени, чем их кратковременные владельцы. Зима — самый еретический сезон, когда наплыв личных вещей катастрофически возрастает и бороться с ним становится все трудней. Старший воспитатель, последовательный борец за идею, высказывался коротко и безапелляционно: „Свитера запретить! Увижу — изорву!” (Это воспитанникам). Воспитателям: „Свитера запретить! У кого есть, у кого — нет. Пусть никто не носит. Отберу и запру в каптерку до лета. Родителям написать, чтобы не присылали”. Мотивировка официальная: у воспитанников должна быть единая форма. Единая школьная форма была. Изрядно поистрепанные серые суконные штаны и такие же пиджаки. Форма, десятки раз высмеянная за свою неуклюжесть и унылые арестантские тона десятками юмористов. Были и черные суконные пары, брюки и гимнастерки, наследие суворовцев, сохранившиеся на складах. Только на 200 с лишком человек не хватило новых суконных костюмов, так что разнобоя, оказалось, не миновать. Х/б (хлопчатобумажная рабочая одежда) поражала разнообразием фасонов, размеров и неухоженности. Не было только единого и такого нужного для всех тепла в зимнюю и осенне-весеннюю пору: особо лютый холод стоял в спальнях. Стоял, стоит и будет стоять!

Старые рамы просторных окон казенного дома не могут удержать тепло. Ветер беспрепятственно свищет в щелях, отгибает углы плохо прибитых картонок, заменяющих выбитые стекла. Уцелевшие стекла в мелких сечениях рамы выглядят неказисто, словно поврежденный глаз. Следы старой краски забегают на стекло, крапинки и штрихи ее невозможно оттереть: стекло дребезжит в своих ненадежных гнездах, мелкие гвоздики поределели, а замазка осыпалась. Зато сами рамы намертво забиты шпигирями, они не распахиваются и не убираются до весенней генеральной уборки. Это — противопобежная предосторожность. Третий и второй этаж сами по себе не служат гарантией: кому надо, спускается на землю по связанным простыням, низко пригибаясь, бежит по теневой стороне, а потом перемахивает через высокий забор на бетонных опорах.

Узкие ребристые батареи чуть теплятся. Вид их настолько безобразен, что кажется: они источают холод, а не тепло. Леденящими промозглыми ночами, в разгул сильных морозов и ветров, к железу притягивается железо: кровати вплотную придвигаются к батарее, одеяло образует кокон — концы его подоткнуты под матрац, а счастливый обитатель кокона льнет к металлическим ребрам, словно к материнской груди в забытом младенчестве, и они отдают ему свое слабое дыхание — дыхание умирающего. На дальних кроватях пытаются согреться, сдвинув их попарно, теплом своего тела. Но спать вдвоем строго запрещено во избежание мужеложства. Здесь все зависит от дежурного ночного вахтера, насколько

он строгий страж режима.

Спать в рубашках и трико категорически запрещается: единая форма! Единая спальная форма воспитанников — трусы и майка. В ней они стоят на вечерней линейке, в ней делают утреннюю зарядку, в ней дрогнут под двумя одеялами — шерстяным и „х/б старым, с подшитым покрывалом”.

„Х/б старое, с подшитым покрывалом” — отличнейший материал для половых тряпок, но используется он совсем по другому назначению: в качестве зимних одеял.

С одним из таких „х/б” у воспитателя нашего произошла прегрубая история. Именно ее он и вспоминал, внешне безразличный к скрижалям мухоморной книги, где значилась недостача одного „х/б”. Исчезновение его считалось скандальным фактом, и в глазах своей восприимчивой, принимавшей отряд и отрядное имущество, воспитатель читал суровое осуждение и высокомерный холод. Холодно и отчужденно смотрела воспитательница на него. Холодно и отчужденно, с недоступных вершин своего превосходства, смотрела она и на ребят — это он знал отлично. Для нее всегда они были „помойскими” детьми, сокращенно — „помойками” (обращение, одно из самых распространенных в спецшколе). С этой молодой мегерой, недавно ставшей матерью, предстояло жить им два месяца, пока он отгуляет свой отпуск. Материнство отнюдь не смягчало ее врожденной свирепости, слегка замороженной привычкой скрывать ее, тем более, разница между своим ребенком и спецшколовскими казалась ей колоссальной, гораздо большей, чем возраст, отделявший младенца от 12-ти-14-ти-летних подростков. Кстати, умение остро чувствовать преимущество своей собственности и своих личных интересов являлось отличительным свойством мегереных коллег, за ничтожно малым исключением, в которое попадал и проштрафившийся воспитатель.

Потеря „х/б” — расхищение социалистического имущества, т.е. преступление, по всем статьям наказуемое. В типографских бланках педагогической характеристики воспитанника есть графа: отношение к социалистической собственности. Ей придается большое значение. Кто же совершил это преступление?

Сережа Ванюшин, санитар отряда, появился в спецшколе недавно: с осени. Санитар отряда должен помогать хозяйственнику хранить социалистическую собственность, осуществляя свой санитарно-гигиенический долг („чистота — залог здоровья!”), поэтому потерять санитару „х/б старое, с подшитым покрывалом”, вдвойне ужасно.

Выглядит Сережа Ванюшин совсем не санитарно. Порывистый, подвижный, постоянно живущий каким-нибудь увлечением, он похож на сквозняка: всем от него неудобно. Состояние покоя ему неизвестно. Он неподвижен только за чтением, когда, заткнув уши, подперев голову кулаком, неистово погружен в книгу.

Также поглощенно он умеет слушать (музыку или чтение вслух),

весь замерев в движении. Только усиливающаяся бледность и разлившиеся зрачки выдают активность переживания, то внутреннее движение, в котором он находится.

Внешний вид Сережи (тоже оценочная категория, за внешний вид снимают или набавляют баллы) соответствует его сквознячному характеру: всегда растрепан, рубашка непременно выбивается из-под штанов, а штаны сваливаются, оставаясь на грани того опасного „почти”, которое целиком зависит от единственной пуговицы. Ботинки его разбиваются и приходят в неопишное состояние одними из первых в отряде, а голова, даже стриженная наголо, вызывает представление о вихрах и всяческой непокорности. Шапка же на голове чаще всего подразумевается, так как хозяин последовательно забывает ее в столовой, мастерских, спальне, в классе, — всюду, где кладет. Ходить он может только в строю. Никто еще не похвалился, что видел Сережу идущим — только бегущим. За беготню по коридору его бесцельно наказывали, но с наказаниями он был знаком так давно, как помнил себя. В этом смысле вряд ли что-нибудь Сережу удивляло.

Его зачислению в отряд предшествовали мрачные легенды, передаваемые из уст в уста в учительской и канцелярии. В авторстве скорее всего повинен эвакуатор. Личное дело воспитанника Калининской спецшколы Ванюшина Сергея носило следы такого анархического распада, что не трудно было угадать, почему ее расформировали. Кроме имени, фамилии, домашнего адреса и табеля успеваемости с двойками оно ничем не располагало. Эвакуатор, видимо, решил восполнить пробелы в личном деле устной характеристикой, придав Ванюшину Сергею, 12-ти лет от роду, черты легендарного злодея. С перочинным ножом в руках правонарушитель набросился то ли на воспитателя, то ли на надзирателя, нанеся ранение и... чуть его не убил. В легендах есть зерна правды. На одном из воспитательских совещаний их просеяла и просветила баба Яга, т.е. зам. директора по культурно-воспитательной работе. Она предупредила воспитателей и работников режима, насколько педагогически запущенный ребенок привезен в нашу спецшколу. Насколько он опасен. Когда его били цепями (воспитатель или надзиратель?), он сопротивлялся. Факт сам по себе возмутительный: нарушитель восстал против порядка! Цепи дрогнули перед перочинным ножом, ребенок напугал взрослого мужчину. Благодаря репутации „опасного”, Сережа и попал в отряд к воспитателю, который чувствовал себя теперь соучастником его нового преступления: пропажи „х/б”. При каких обстоятельствах оно пропало, знал весь отряд. Пока не исчезло из спален тепло, Сереже помогало лечение в санчасти, и он чувствовал себя счастливым, просыпаясь в сухой постели. С наступлением минусовых температур все чаще и чаще приходилось ему довольствоваться клеенчатым матрацем: прачки не всегда обменивали белье, или он сам забывал его на морозе, на бревнах, позади спального корпуса, заменявших сушилку. „Х/б старое с подшитым покрывалом”

отправилось туда же. Несколько дней оно вымораживалось, потом выпал снег, и из сугроба торчал только кончик „х/б” — унылого флага отверженности „мазык”. Потом приехал мусорщик и не разобравшись что к чему, сгреб „х/б” с прочим сугробным мусором и свез на свалку. Воспитателю же предстояло писать докладную директору по поводу пропажи социалистического имущества, иначе он не мог получить отпускные.

Но все имеет свой конец! Докладная написана, „х/б” списано, и вот воспитатель свободен. Свободен ли? Самые ценные книги взяты, на полках в учительской остались наиболее расхожие, тоненькие, и журналы. Надо же что-то читать ребятам! Есть в спецшколе библиотека, однако книги из нее на этаж, как правило, не дают. Воспитатель приходил на работу с огромной сумой, набитой книгами. Сам себя, посмеиваясь, называл коробейником, книгоношей. В результате отрядная библиотека не оскудевала, помимо отряда ею пользовались доверенные читатели из 1-го и 2-го коллективов. В учительской всегда толпились ребята около заветных полок, и это всех раздражало.

Теперь станет тише. С уходом воспитателя исчезнут многие раздражители, докучавшие его коллегам. Не сразу, конечно, но постепенно исчезнут и следы его влияния, — разлагающего, глетворного, как им кажется, губительного для дисциплины, порядка. Кроме личности самого воспитателя, книжки все же раздражают их сильнее остального. Книги, как дым или запах, распространяются повсюду: их находят спрятанными под матрацы и подушки — непорядок! Снимают баллы. Они громоздятся тоненькими стопочками или увесистыми булыгами томов Майн-Рида и Жюль Верна на подоконниках у старших ребят — не положено! Снимают баллы. В спальнях нельзя хранить книги, нельзя их там и читать: по единому режиму и распорядку, принятому в спецшколе, „работе с книгой” (есть такая официальная графа) отводится один день в неделю. Естественно, не весь день, а два часа одного дня. Так было два года. На третий год работы воспитателя в спецшколе часы „работы с книгой” просочились струйками еще на два дня. Не без причины коллеги его отнесли это новшество за счет раздражавшего их воспитателя: книжное заполнение спецшколы ведь связано с ним! Книги плодятся быстро, как тараканы! Уже читают в столовой (неслыханная вещь!), дожидаясь команды: „приступить к еде!” Читают украдкой, стоя на линейке, когда она затягивается, томительно долго, а слабых, случается, выносят в обмороке (это летом, зимой бодрит холод). Читают на уроках, на переменах, в санчасти и на постах, где воспитанники из ЮД (юные дзержиновцы) подменяют „дубаков”, т.е. надзирателей, режимников. Читают в клубе во время беседы или другого дежурного „мероприятия” с дружиной, которому дружина (220-230 человек) каждое воскресенье еженедельно поддается три-четыре часа.

Нельзя сказать, чтобы с книгами не вели борьбу. Ведут и очень последовательную! Например, надзорсостав. „Дубаки”, или надзиратели,

часами сидят на постах в безобразных надзирательских будках, чрезвычайно похожих на будки собашников, поставленные на торец, — скучают. Они рады перехватить любую книжонку, детскую или взрослую — безразлично, лишь бы она оказалась занимательной. Идет подросток, рубашка на груди топорщится. Книге спокойнее всего за пазухой: не испачкается и не потеряется.

— Эй! Подойди сюда! Что это у тебя? Книга? А ну, покажи!

Книга переключивается к вахтеру, дубаку, и редко возвращается к владельцу или ее недавнему читателю.

Самым пылким охотником за чужими книгами сделался „дубак” по прозвищу Хрящ. Поперек себя шире, с выражением победоносной наглости на сытом сыромятном лице, Хрящев был создан для должности, которую занимал. Человек-кулак, насильник по призванию, он глотал книги, как водку, не успев ощутить их вкуса, не отличая правды и подлинности искусства от суррогатного чтива. Хрящ читал (следовательно, присваивал) сказки и романы, повести и рассказы, однако детективная и военная тематика преобладала в его всеядности. Сказки он забирал для своих детей-хрящат, из ворованных же книг „составлял” себе библиотеку. Добрая половина ее состояла из бывшей собственности воспитателя-книгоноши. Недаром Хрящ считал его простофилей, чудиком, достойным искреннего презрения.

После того, как воспитатель настоял на возвращении „Сказок дядюшки Римуса”, Хрящ перестал с ним здороваться. Когда в столовой дежурил отряд книгоноши, ребятам особенно доставалось. Хрящ тараном врывался в столовую, так что все двери некоторое время жалко дрожали, а стекла жалобно дребезжали: грохот и рык сопровождали появление Хряща. Он не ходил, а кубарем метался между столами, подгоняя накрыльщики криком, иногда — пинками. Мохнатая шапка, надвинутая на глаза, или всклокоченные лохмы, прилипающие ко лбу, усиливали выражение подозрительности и жестокости — господствующих качеств Хряща. Жестокость сочилась из каждой поры разбухшей кожи гораздо обильнее, чем пот, а грязная ухмылка редко слезала с кривящихся губ. В сомкнутом положении они застывали темной подковой с небритой щетиной по краям.

Не только Хрящ отмечал отряд Книгоноши. Повара и посудомойки тоже его не любили, как и самого воспитателя. У воспитателя тихий голос. Он всегда вежлив, вежлив со всеми, даже с воспитанниками, — и это не единственная подозрительная и непонятная его особенность. Когда ребята чистят картошку, он читает им вслух. „Виданное ли это дело? Одно баловство!” комментируют на кухне. Чистить картошку нудно: два мешка, из них на четверть гнили. Ножи тупые, и их не хватает на всех. Вода в бочках грязная, так как очищая, картофель предварительно не моют. Сидеть неудобно: надо низко наклоняться, до полу, и пробыть в полусогнутости два-три часа, пока бочки не наполнятся доверху, а

мешки с жижей и грязью не опустеют. 15-20 мальчишек сидит кругом, беспрестанно задевая друг друга толкая локтями, легко вспыхивают ссоры. Под потолком висит лампочка, ее накал слаб, свет тлеет, чахнет, нудит. Не светит и не греет, а дразнит зрение. Ну как тут не почитать? Увлеченные вымыслом, ребята затихают. Их руки автоматически справляются с безрадостным заданием, картошки без всплеска погружаются в воду. Картина почти идиллическая, но идиллиям нет места в спецшколе. „Бац! Блям!“ – гремит в посудомойке. Металлический гром (железные миски бросают в кастрюли) соперничает с ором поваров.

Воспитателю никогда не понять, почему разговор заменен криком, так же как работникам кухни не оправдать тихого голоса и интеллигентских привычек воспитателя. Он ничего не просит для себя, кроме кружки воды изредка, но требует для ребят добавки к порциям, где кашей или пюре лишь капнут в тарелку, вместо того, чтобы ее наполнить. Он в вечных торгах из-за нехватки яйца, пирожков или кусочка масла. Он возвращает стаканы, только наполовину налитые чаем ли, компотом, и заставляет долить их до нормы. Мороки с ним не оберешься!

А главное, воспитатель сам не бьет и не позволяет бить детей. В этом он белая ворона среди черной стаи. По закону физические наказания запрещены, рукоприкладство – подсудное дело, им занимается прокуратура. Но закон уступает в бдительности и всепроникновенности беззаконию. Розга, универсальный символ старинной педагогики, не занимает почетного места в спецшколе. Ее модифицированные подобию стыдливо покоятся на дне ящиков, в канцелярских столах, и появляются на поверхности только в нужный момент, когда „разбираются“ с нарушителями. Так удачно заменено новым словом не менее старинное, чем розга, слово экзекуция. Оно однородно с бюрократическими словами типа „провести мероприятие”: не наказывать, не бить – „разбираться”. Оно выполняет строго мимикрийную, маскировочную функцию, с добавочным значением, которое нужно скрывать.

Многие воспитанники знают не по наслышке о плетке Волка (он же Горбатый). Волк – начальник надзорсостава, заместитель директора по режиму, кадровый офицер войск МВД, поднявшийся на высоты режимной власти из рядовых воспитателей. Он сер и сед, почти всегда носит шинель, галифе и сапоги, взгляд утрюмый и пристальный из-под кустистых бровей, поступь неторопливая. На ходу сутулится, отсюда второе прозвище – Горбатый, а говорит тихой скороговоркой с придыханиями. И чем тише он говорит, чем короче держится, тем больше его надо бояться. Среди взрослых он известен своими кляузами, среди детей – плеткой. Служит он в спецшколе давно. Еще помнит те времена, когда в ней размещалась колония совершеннолетних, чуть позже – малолетних правонарушителей. Колонией ведало УОП – Управление общественного порядка. Тогда все воспитатели были офицерами, имели звания лейтенантов. Волк еще должен помнить Гришу Вахлакова,

мальчика лет одиннадцати, ученика 3-его класса, с тоненькой шейкой и вишневыми украинскими глазами. Гриша немного шепелявил, любил стихи и сказки (этого Волк мог не знать). У Гриши глаза казались больше лица, бледного треугольничка с младенческим выражением. Уже тогда основой основ в воспитальной работе считался коллектив („единица — вздор, единица — ноль"...). Гриша Вахлаков боялся своего коллектива — как никак — сто человек, сила! Он получил „двойку", ему обещали ночью „темную". И Гриша не выдержал: он удавился на ремне в подвальной мастерской, стоя на ступеньках коленками. Страх перед коллективом пересилил желание жить. С тех пор ремни в спецшколе запрещены.

„Разбираются" с нарушителями по-разному, в зависимости от размеров вины и выбора орудия разбирательства. Одни предпочитают плетку, другие — кроватные каретки, то есть легко снимающиеся никелированные гнутые спинки кроватей, — весьма эффективное орудие в умелых руках. Каретками обычно пользуются „бугры" — председатели отрядов, председатели совета коллектива, председатели совета дружины. На заседании совета дружины в пионерской комнате обходятся, конечно, своими средствами — руками и ногами. Этого вполне достаточно, чтобы провинившийся летел кубарем со ступенек крыльца, а уши пионера были краснее его галстука.

Некоторым воспитателям нравится примитивный ремень с бляхой или обыкновенная палка (чаще всего женщинам). Мужчины поступают проще: ударяют рантами своих ботинок воспитанников по ногам. Когда удар приходится по косточке, он очень и очень чувствителен.

Старший воспитатель 1-го коллектива известен своим пристрастием к морализованию. Читая нотации нарушителю, он долбит его по голове довольно увесистым ключом, полагая, что прописные истины, полученные таким путем, навечно запечатлеются в мозгу воспитанника.

У старшего воспитателя 2-го коллектива другая метода: нарушители стоят развернутым строем с вытянутыми руками ладонками вверх, а он стегает по ладонкам проволочным кнутиком или плестиглазовой указкой с наборной рукояткой. То и другое производит впечатление. Это называется „давать интервью", выражение в одинаковой степени загадочное, судя по употреблению, как для старшего воспитателя, так и для воспитанников, но его прикладное значение понятно без перевода. Раньше, до прихода в спецшколу воспитателя Книгоноши, „интервью давали" на вечерней линейке перед выстроенным коллективом, перед сотней ребят для всеобщего устрашения нарушителей.

Теперь это делается келейно, в комнате старшего воспитателя. В ней и коптерка, где хранятся тряпки, изъятые или отданные на хранение личные вещи воспитанников, вскрытые посылки, зубной порошок, бумага для стенгазет, гвозди и прочие надобности хозяйства 2-го коллектива. В ней и место розыска, дознания, — наконец, „разбирательства" —

виновных.

Что значит, по сравнению с капитальным разбирательством, с выдачей „интервью”, оплеухи, пощечины, пинки („поджопники”, по выражению пострадавших), удары половником или скалкой? „Сущее ничего”, как говаривал когда-то Манилов.

Половник и скалка — излюбленные воспитательные орудия повара и посудомоек. Ор, — окрик и ругательства, легкие вспомогательные приемы, с их помощью новички быстро овладевают нехитрой наукой самообслуживания в столовой и кухне. Кухня — привилегированный участок, туда пробиваются знатоки, старожилы. Вымой получше полы, нарежь в темпе хлеб, рыбу — добавка обеспечена. К тому же весь день в тепле и среди сытных запахов. На кухне любят работать энергичные, расторопные ребята, не слишком чувствительные к изменчивому нраву повара, взрывам поварского гнева и молниеносным зигзагам поварешки: ловкому и увертливому недолго! Зато угодишь — и благодарность схлопочешь, помимо подкормки. Мыть посуду должны тоже быстрые и ловкие руки. Чад из кухни, пар от горячей воды, перемешиваясь, создают своеобразный микроклимат: субтропики с повышенной влажностью, высокой температурой и преобладающим ароматом помойной лохани с обедыками вместо магнолий.

Обеды ежедневно отправляют в свинарник, и только неприхотливостью животных можно объяснить их соединения, отдаленно напоминающего меню некоторых спецшколовских ужинов. В лохани огрызки солений плавают в молоке вместе с кусками хлеба, килька попадает в манную кашу или творог (его не едят ребята из-за сухости и кислоты), в пшенке торчат селедочные хвосты. Хлеб почему-то не кладется отдельно, не оберегается от несовместимости, а сразу же летит в общую лоханную жижу. И никто не вспомнит, что, кроме свиней, есть еще в спецшколе и лошади, и в конюшни можно кое-что добавить к скудному лошажьему рациону с настольных обедков. На лошадях привозят в зону хлеб, продукты. Подростки помогают их сгружать, рвутся попасть в наряд к возчику, лишний раз вытянуть возжой по медлительному крупу. Почему бы не угостить „товарищ лошадь” корочкой с солью, не погладить ее по лохматым щекам, по нежному крупу, не посмотреть в печальные лошадиные глаза? Она смотрит совсем как новичок, попавший в спецшколу, в первую неделю приживания. А есть дети, сохраняющие такой взгляд, сколько бы они здесь не жили.

Животные, не исполняющие трудовые повинности, в зону не попадают — запрещено! И хлеб выносить из столовой, хотя бы для лошади или для птиц, тоже запрещено. За „корочки”, вынесенные из столовой, строго наказывают. В памяти свеж случай с Сережей Жерковым, не слишком оригинальный в условиях спецшколы, но достаточно типичный.

Окончен завтрак. В половине десятого начинаются занятия. Перед первым уроком каждое утро проводится линейка. Из столовой в школу

по-муравьиному, цепочкой, тянутся воспитанники. Идут один в одного, затылок в затылок, прижав руки по швам, как на тюремной прогулке. Отряд за отрядом строем идут в школу. Шагистике, строю уделяется здесь исключительное внимание: считается, что строй дисциплинирует воспитанников, приучает их к порядку. Порядок же, наряду с молчалинскими талантами, возведен в степень главенствующей добродетели. Порядок, аккуратность, умение подчиняться и беспрекословно выполнять приказания — принадлежности не столько военного, сколько чиновничьего, бюрократического мира. Чиновники, лишённые воображения, или, наоборот, обладающие дьявольской фантазией, и придумали спецшколу. Порядок в ней тюремный, а строй — цепь, на которую можно посадить каждого отдельного человека, приобщив его таким образом к коллективу. Строй помогает держать всех на виду, кучно, его легче охватить взглядом, за ним легко надзирать. В строю важны не лица, а выровненные в одну линию ботинки или печатный шаг. Не речь, а молчание. Строй — это рычаг, направляющий действия коллективов, 1-го и 2-го, то есть действия 230 подростков в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Строй в спецшколе укрепляет не организующие, а карательные ее возможности. Вся иерархическая структура детского самоуправления коллективов тесно связана с режимно-строевыми нормативами поведения воспитанника, но иногда строй выступает в роли развернутого в одну шеренгу зрительного зала. В случае с Сережей Жерковым именно так все и произошло: на фоне строя, перед лицом строя, идущий затылок в затылок, руки по швам, боковым зрением видел весь спектакль. По ступечатому крыльцу школы Калярова Александра Степановна, воспитательница отряда №2, с перекошенным от злобы лицом тянет вниз, навстречу идущим, круглолицего мальчонку лет 10-ти-11-ти. Это третьеклассник Сережа Жерков. Лицо его заплакано, на голове нет шапки. Лицо кривится от боли под слабые бормотания и всхлипывания: боком, припадая на одну сторону, он волочится за воспитательницей. Одной рукой наставница цепко держит свою добычу за ухо, время от времени накручивая его, — тогда жалкая припрыжка жертвы становится особенно ныряющей; костяшками другой руки, сжатой в кулак, она без устали тычет в стриженную голову. Строй воспитанников молча движется навстречу слезам и тычкам. Двигается и проходит мимо этого вполне заурядного зрелища, оно никого не удивляет. Только воспитатель Книгоноша, обомлев, слабо вскрикивает: „Александра Степановна! Разве так можно?!” Режимник, издали смотревший спектакль, подходит ближе, презрительно усмехается и роняет: „Значит так надо. Значит заслужил!” Чем же вызван бешеный гнев Каляровой (воспитанники прозвали ее Селедкой за необыкновенную худобу)? Ее постная монашеская физиономия обычно выглядит так, словно изнурена бесконечными епитимьями. Сейчас она просветлена злобой, длинный нос на глазах сохнет и еще более удлиняется, глаза напоминают ядовитое пламя газовой горелки.

Голос по тембру необычно схож с голосом бензопилы, окрашивают его высокие ноты. Голова возмущенно откинута назад, и видно, как движется шея. Кажется, внутри нее кто-то возится и пищит, словно гадюка проглатывает лягушку. Так в чем же дело? Оказывается, — в корочке!

Сережа недавно прибыл в спецшколу и не освоил еще навыков конспирации, мимикрии. Он стоял в коридоре и спокойно держал в руке кусок хлеба — „корочки”. Здесь-то и закогтила свою добычу стервятница Калярова. Можно подумать, что „корочки” вырваны были прямо из ее пищевода, — настолько потрясло воспитательницу подобное отступление от режима: хлеб можно есть только в столовой, в другом месте — запрещено!

Избиение перед строем Сережи Жеркова, воспитанника чужого отряда, — не того, где работает Александра Степановна, — отнюдь не эпизод, не экзотический штрих в ее биографии, а случай из практики. Один из множества.

Ребятам из „родного” отряда Калярова известна меткостью своей убойной педагогики. Костистый кулак, звонкая оплеуха под сухой пергаментной ладонью — не единственные приемы ее отточенной методики.

Учительница русского языка, придя в класс Каляровой, ахнула: на спине у Саши Бакланова аккуратно пришита тряпица с надписью: „Вор”.

Если бы не стойкое отвращение к художественной литературе (почему-то без эпитета „художественная” слово „литература” уже не употребляют), которое не раз проявляла Александра Степановна, можно было бы заподозрить в ней внимательную читательницу Диккенса. Можно было бы даже обвинить ее в педагогическом плагиате: в романе „Давид Копперфильд” мальчику (речь идет о частном пансионе и изверге-директоре) повесили на спину дощечку с надписью: „Берегитесь! Он кусается”. Мальчика обязали носить ее год, и только случай спас Дэвида от бесконечного унижения. Можно было бы даже предположить, что воспитательница, работник советской спецшколы, — ученица мучителей и палачей детства — так выглядели знаменитые лжепедагоги Диккенса.

Но Диккенс здесь не причем. Можно с уверенностью сказать, что ни одного из упомянутых романов Чарльза Диккенса Калярова не читала. Заочно она учится на математическом факультете пединститута. Надо полагать, язык цифр она понимает лучше азов классической педагогики и „абстрактного” гуманизма.

Когда однажды Книгоноша готовил с нею сводную программу выступления двух отрядов, он поразился: стихи буквально застревали и вязли в зубах Александры Степановны, словно она жевала липкую смолу. Слова, произнесенные голосом скрипучего сухостоя, рассыпались в прах. Рифмы увядали, тропы гасли. Александра Степановна показала полную несовместимость с поэзией. Пиитика чужда ее натуре, зато риторика! Здесь она не знает равных себе.

На центральной аллейке, ведущей от санчасти к клубу, есть торжественное возвышение, своего рода трибуна из бетонных столбиков и железных перекладин (в спецшколе предпочитают стойкие стройматериалы без эстетических излишеств). Когда тепло, на аллее выстраивается вся дружина, а на возвышение возносятся воспитатели. Рядом с трибуной мачта для поднятия флага, с другой стороны ее укреплены портреты пионеров-героев, намалеванные для прочности на жестяных листах.

Ежедневно трижды выстраивается возле трибуны дружина, по торжественным, праздничным дням линейка затягивается. В пионеры принимают там же, на центральной аллейке.

Одно лето Калярова исполняла обязанности старшей пионервожатой. Она стала носить галстук, коротко постриглась, отчего узкая голова ее на длинной подвижной шее приняла окончательное сходство со змеиной, а к селедке прибавилось более точное прозвище — Кобра. Дабы помолодеть и приблизиться, насколько это возможно, к пионерскому возрасту, Кобра укоротила юбку, выставив на всеобщее обозрение худющие мословатые ноги с устойчивыми косыми ступнями. По нижним конечностям ее можно было принять за цаплю или какое-нибудь членистоногое.

За исключением пафосных моментов, когда она дралась или вещала с трибуны, Кобра знала иное состояние: часами могла предаваться запойному и занудному морализированию. Согнув крючком бледный суставчатый палец и зацепив им за пуговицу или воротник воспитанника, Кобра вперяла в него неподвижный взгляд эмалевых пустых глаз, как бы подвергая гипнотическому трансу, и точила пятнадцать-двадцать минут, будто жук-могильщик молодое деревцо.

В пионерской, среди пышной флажково-значковой атрибутики, и в дни революционных праздников Кобра выстреливала обоями готовых фраз, взятых напрокат в „Блокноте агитатора”, „Вожатом” или из газетных передовиц. Казенная канцелярская фразеология, перемолотая убогим сознанием, исключала живые слова. Такие понятия, как „долг”, „совесть”, „пионерская честь”, „патриотизм советского гражданина”, звучали у нее обездушенно и фальшиво. Невольно вспоминалась мысль Достоевского: „Высокими словами всякое дело опошлить можно”.

Каким бы делом ни занималась Калярова, — воспитательной работой, пионерской, сидела ли в жюри на смотрах, — всегда она оставляла мертвый след равнодушия и узкого жестокого местничества, расчетливого карьеризма.

Сторожилам памятно таинственное исчезновение Вити Губина, похитителя велосипедов — так значилось в личном деле мальчика. Обычные для воспитанника спецшколы исходные данные: отчим пьяница, вор. Он научил пасынка угонять велосипеды; разбирал украденную машину на части, продавал ее, пропивал. Вите нравилось кататься, нравилась романтическая, приключенческая сторона промысла. В конце концов мужчину

отправили в тюрьму, его ученика — в спецшколу. Мать Вити по тем же свидетельствам личного дела, „вела аморальный образ жизни” в г. Боре Горьковской области, откуда и приехал на исправление в спецшколу Витя. Прозвище „Дуня” он получил, видимо, благодаря своему обыкновению защищаться криком. Стоило кому-нибудь приложить руку к „Дуне”, как голосовые связки приходили сразу же на помощь: раздавался истошный крик. Дуню предпочитали не трогать. Было что-то еще в подростке, — не обделенном мальчишеской статью, крепком, спортивного склада, — что позволило ему прилепить женское прозвище. Что-то нежное (не только нежная белая кожа), изменчивое, по-женски лукавое в характере, не ускользнувшее от наблюдательных товарищей.

Вместе с хитринкой и себенаумешностью, в Вите жило еще такое детское голодание по ласке, вниманию, такое жаркое желание прилепиться к любому, кому он нужен, такая тоска заброшенности!.. Когда в Витином отряде появился Книгоноша, он так и кинулся к нему, так и принял к той свежей струе, которая ворвалась в отрядную жизнь с приходом нового воспитателя. Витя имел свои книжные запросы: ему нравилось читать о героях. В 4-ом классе техника чтения еще слаба, большинство читает тоненькие книжки, а Витя затребовал „Спартак”, одним из первых прочел „Легенду о Робин Гуде”. Попав впервые домой к Книгоноше и увидев стеллажи с книгами, фонотеку с проигрывателем, всякие безделушки на полках, он сказал: „Дома у себя я всегда убежал на улицу, когда мама работала. В комнате одному скучно. Если б я жил у вас, я бы никуда не выходил: то читал бы, то слушал, то разглядывал”. На прогулках Витя держался поближе к воспитателю и все рассказывал и рассказывал о своей прежней жизни и о том, как он сильно хочет стать шофером. Один из немногих в спецшколе, он, действительно, не курил и даже не испытывал вожделения при виде окурка. Витя свято верил в библейские заповеди школы: веди себя хорошо — и ты уедешь домой или в ПТУ; не укради, не обижай своего ближнего, старайся — учись, и ты получишь хорошую характеристику, и двери спецшколы открываются перед тобой, и ты уйдешь в свободный счастливый мир. Он не крал, никого не обижал, переходил из класса в класс, но уехал не домой, а в СПТУ — специальное профессиональное техническое училище. В СПТУ посылают тех, кто нарушает режим спецшколы последовательно и постоянно, т.е. самых злостных нарушителей. В СПТУ отправляют переростков с дурными наклонностями, беглецов или, как выражаются воспитанники, — „побежников”. СПТУ — преддверие колонии и тюрьмы в большей степени, чем спецшкола, и нравы 15-17-летних юношей там гораздо суровее и свирепее подростковых самосудов. С СПТУ связаны мрачные рассказы о сломанных ребрах и ключицах, о зверских побоях. Правда, некоторые верят, что в СПТУ лучше, потому что за год получишь специальность и уйдешь на волю, а в спецшколе можно пробыть год, два, три. Витя Губин боялся СПТУ, не мог даже представить, за какое

преступление ему суждено туда поехать.

Почему Витю отправили в СПТУ, для всех осталось тайной. Когда Книгоноша вернулся из летнего отпуска и узнал, что Губина увезли в СПТУ, он готов был написать заявление об уходе. И ушел бы, если бы заранее подыскал работу, если бы не близилась зима.

К кому он только не кидался с расспросами о Губине! Екатерина Ивановна Злобнова, зам. директора по воспитательной работе, известная по прозвищу Бабы Яги, пыталась его убедить, что Губина Витю отправили в СПТУ для спасения души. Мать — „ведет аморальный образ жизни“, об этом поведала Бабе Яге землячка Губиной, навестившая своего сына в спецшколе. Если пользовались слухом, значит не послали официально запроса на место жительства, как это делается, когда готовят его к выпуску: Вите шел 16-ый год, третий год пребывания в спецшколе! Значит, ни к чему все лестные характеристики, благодарности и прочие заслуги, которыми располагал Витя! Он и в ШК ни разу не сидел, и в побег не уходил — самое серьезное нарушение в условиях спецшколы. Значит, если надо избавиться от воспитанника, от него избавиться, и не какие заслуги не помогут! Но кому надо было избавляться от безобидного парня? Хотя бы на этот вопрос хотел получить ответ Книгоноша. Кинулся к пионервожатой, Каляровой Александре Степановне (она же Селедка и Кобра), вспомнив, что Губин — пионер. Вспомнил Книгоноша, как радовался Витя, вступив в пионеры: это ведь первая и неременная предпосылка к выпуску из спецшколы. Воспитанник непременно должен стать пионером, даже на пороге 15-летия, т.е. комсомольского возраста (в обычных, нормальных школах комсомольцами становятся и в 14 лет). При всей изворотливости и уклончивости ответов Кобры, при всем нежелании вспоминать о Губине, Книгоноша добился все-таки одного определенного ответа: Витю исключили из пионеров. За что?! На этот последний его вопрос, Кобра ответила совершенно четко: „Не мог же он уехать в СПТУ пионером!“

Начальник режима, он же Волк, честно сказал: „Да, хороший был мальчишка, безвредный. Даже голубями и всякими там птичками не занимался“.

— Я? При чем же здесь я? По мне, живи он у нас хоть до старости. Мне он не мешал.

— Но ведь он был ЮД! (Юный дзержиновец. Секцию „ЮД“ вел Волк).

— Ну, и что? Не я писал характеристику! Разговаривайте с Екатериной Ивановной!

Разговаривать было поздно. Губина уже увезли в СПТУ. Увезли крадучись, ночью, не дав проститься с товарищами.

Екатерина Ивановна ответила, что там Губин получит специальность. Ехать ему к матери нельзя, а больше — некуда.

Конечно, устраивать подростка в ГПТУ (*не специальное*, а

нормальное профессионально-техническое городское училище) более хлопотное дело, чем отправка его в СПТУ. Куда проще — последнее! Равнодушие, гнусное, чиновничье, холуйское равнодушие — вот единственная причина, почему Губин Витя попал в СПТУ. Почему четвертый год должен жить за высокой стеной, в зоне, на специальном режиме, среди черствых и подлых людей. С двенадцати до шестнадцати лет проведет он среди них. Вошел он в зону ребенком, выйдет юношей. Только вот каким юношей? Чем питалась его юность, что доброго, благородного и возвышенного могла она найти вокруг себя, чтобы захватить в дальнейшую, взрослую жизнь? Уже на пороге юности его лишили доверия, лишили уважения к тем ценностям, без которых нельзя жить, оставаясь человеком. Уезжая и обливаясь слезами, он твердо знал: взрослые — враги, хитрые, коварные, беспощадные. Верить им нельзя.

Саша Бакланов. Когда-то вместе с Губиным Витей он был в отряде Бориса Александровича Ясенского, то бишь Книгоноши, потом попал к Каляровой.

В спецшколе детей тасуют, как игральные карты. Перед началом учебного года отряды делают, кромсают, нисколько не справляясь с желаниями воспитанников. Да и зачем? Не все ли равно, какой придет на отряд воспитатель? В большинстве случаев — все равно. А уж воспитателям и подавно! Имеет значение численность отряда, возраст ребят: со старшими труднее, с младшими — легче. Старшие — 1-ый коллектив, младшие — 2-ой. Разные коллективы — разные старшие воспитатели, своего рода „унтеры” просто воспитателей, их рядовых. О единичках же, отдельных воспитанниках, не принято говорить — это дурной тон. Само собой разумеется, что отношения воспитателей и воспитанников чисто служебные, безэмоциональные, поэтому от механического перемещения количества качество не страдает. Они складываются и развиваются в безвоздушном пространстве стерильной режимной педагогики, определяющейся двумя графами учетной карточки воспитанника: „поощрения” — „наказания”. Какой же может быть разговор о добровольном переходе воспитанника из одного отряда в другой?

— Всех делают — пожалуйста! Одного перевести?! Ни в коем случае! Запрещено!! — И все же разговор возник. Конечно, по вине Книгоноши, и касался он новичка Саши Бакланова. Встретились они таким образом.

Утро. Холодное, темноватое. В коридоре горит свет, поспешно доканчивается уборка спален на этаже. Дежурные начинают нервничать: скоро построение, идти на завтрак, потом — в школу. Опоздаешь — влетит, и участок 7-го отряда, узкая часть коридора напротив спальни, не вымыт. „Бакланов!” Грохот по лестнице, кто-то вбежал стремглав с криком „Помойка!” Снова грохот, возня, дверь стремительно распахивается — и под ноги воспитателю летит с воплем маленькое скрюченное тельце в непомерно большой телогрейке с шапкой на голове. Его схватывают за воротник и волокут на участок. Вопль усиливается.

Воспитатель бросается на крик. У ног разъяренных дежурных, вцепившись одной рукой в батарею отопления, другой, маленькой, красной, почему-то в свою шапку, сдвинутую набок, лежит, согнувшись почти напополам, виновник переполоха. Он плачет взхлеб, давится слезами. Крик его переходит в икоту, вот-вот начнется истерика. С большим трудом, сквозь крики: „Будешь мыть!” — „Не буду, хоть убейте!” — удалось разобраться в беде. Малыш-новичок, Саша Бакланов, жаловался на ухо: „Болит ухо” Естественно, ему никто не поверил: „Мозгуешь! Мыть не хочешь? Заставим!”

Малыш (ему уже 11 лет, просто он ростом не вышел) еще не достаточно знаком с порядками спецшколы. Он только что из дома, у него есть мама. Есть бабушка и дедушка, другие родственники, и все его любили и баловали. Он привык к свободе, к ласке (не все могут этим похвастаться!), у него еще пухлые розовые щеки — скоро они побледнеют и покроются синяками, но он этого еще не знает. Он еще полон домашнего тепла. Его привезли в спецшколу обманом, сказав, что повезут в интернат. Правда, он очень удивился, увидев милицейский „воронок” с решетками, но ему, улыбаясь, объяснили, что им „по пути”, его „прихватят”. А мамы рядом не было, она бы не дала! Саша еще верит, что мама скоро его выручит, заберет отсюда. Ведь защищала же она его не раз, когда он пропускал уроки в школе, воровал по мелочам у соседей, убежал на Волгу и пропадал там часами, днями, возвращаясь домой только ночевать. Мама — жалкая, больная, слабовольная и порочная мама! — кажется ему всесильной. Его никогда не били дома! Вот откуда этот необычный в стенах спецшколы протест, отказ мыть полы, ссылка на какое-то ухо. Какое дело другим до того, что у тебя болит ухо. Пусть болит у тебя что-угодно! Дневальный — мой!

Два новичка поверили друг другу. Борис Александрович успел поработать всего несколько дней, а первые впечатления всегда остры: резкий запах мочи при входе в зал, мрачная каменная лестница, подтеки на потолке с обшарпанной штукатуркой, а главное — торжество несправедливости и казенщины. От этого впечатления он не мог избавиться, оно сопровождало его всюду в спецшколе, на каждом шагу, куда бы он ни ступил, сопровождало так же неотступно, как и детское горе. Детское горе — главный здешний житель, оно имеет постоянный адрес и прописку: г. Маркс Саратовской области, ул. К. Маркса, 115. Спецшкола. — Можно указать любой отряд, в каждом оно есть — детское горе. Только в одном отряде его больше, в другом — меньше. Познакомившись с Сашей Баклановым, воспитатель понял, в какую неравную борьбу он вступил, как тверды позиции коренного его врага — детского горя.

Началось, казалось бы, все с мелочей: Сашу отказывались переводить к нему в отряд. Со своим заступничеством он был просто смешон. Так думали другие воспитатели. Так считали в санчасти. В то утро он самовольно отменил дневальство Бакланова и отвел-таки его в санчасть.

Мальчик рассказал, что в детстве ему проткнули барабанную перепонку, ухо часто воспалялось, болело. Клавдия Павловна, фельдшерица, усомнилась в болезни Саши. Всех, кто приходил к ней с жалобами, она прежде всего считала симулянтами.

— Кто докажет, что у него болит ухо? А может он притворяется? Может, хочет просто в тепле полежать? Уж очень вы, Борис Александрович, добренький! У нас так нельзя!

Упрек в доброте будет сопутствовать Книгоноше, как бранная кличка, как печать отверженности, все годы работы в спецшколе. Но тогда он этого тоже еще не знал.

— А вы, Клавдия Павловна, отведите его в поликлинику, к отоларингологу. Вот и узнаете, притворяется он или на самом деле болен.

— Если каждого в поликлинику стану водить, много таких наберется. А работать кто будет? У меня, знаете ли, своих делов хватает! Ишь чего захотел — в поликлинику ему! (Это относится к Саше.) Поликлинику ему подайте! А если он убежит? Кто за него отвечать будет?! Нет уж, я не согласная!

Лицо дебелий медички наливается кровью, глаз начинает косить — первые признаки гнева.

Воспитатель меняет тактику: он просит всего лишь на всего оставить Бакланова полежать до ужина. Деликатно намекает, что неплохо бы ватку с камфарой положить ему в ухо. Может оно и так пройдет, без поликлиники. Причем ведет разговор хитро: словно этот несложный рецепт исходит из уст самой фельдшерицы. А то ведь выгонит — чего проще!

С воспитательницей Сашиного отряда договориться оказалось сложнее. Зоя Митрофановна Барашкина долго не могла понять, о чем толк. „Да зачем он вам?“ — повторяла она в разнообразных вариантах. Убедившись в настойчивости Ясенского, она оскорбилась: „Такого еще не случилось! Разве я не справляюсь! Нет, не согласна на перевод. Не дам Бакланова и все!“ Упрямство ее диктовалось самолюбием. („Я? И не справляюсь?“), упорство Книгоноши подстегивали бесконечные просьбы и стонания Бакланова. Он ходил за воспитателем, как тень, неотступно и бубнил одну фразу: „Переведите в свой отряд! Переведите, пожалуйста! Я буду все делать, все!“

Пришлось обращаться к Злобновой. В то время она еще не определила своего отношения к настырному воспитателю (по крайней мере, в открытую), только все похихатывала и, жеманно поджимая хищные губы, повторяла: „Не верьте вы им, не верьте! Они ведь все одинаковые“. Воспитанники, действительно, в ее глазах не имели существенных различий, были „одинаковыми“. Так посторонним наблюдателям кажутся люди чужеродной расы, японцы, скажем, или монголы, все на одно лицо. Воспитанники — пешки, бесчувственные чурки, и Баба Яга в приливах начальственного вдохновения привыкла перемещать их на доске „воспитательных мероприятий“ в любом направлении, употреблять в любых

комбинациях. Почему бы лишний раз и не показать свою власть? Ведь стоит ей пальцем шевельнуть — и Бакланова переведут куда угодно, хоть в преисподнюю, — не только в другой отряд. И она шевельнула пальцем, но только с подстраховкой: „Если директор не возражает!” Директор не возражал, и Бакланова перевели в отряд Ясенского.

Не сразу он стал хорошим, Саша. Да и никому еще не удавалось переродиться враз. Пожалуй, он так и не успел стать хорошим — шагнуть в хорошую жизнь. Прощлое жило в нем, ворочалось всеми корнями и истоками, давило тяжелыми впечатлениями и манило сказкой, бездумной волей, которую он познал в дни скитаний. Домой тянуло страшно, особенно в первые недели, в пору трудного привыкания к режиму и не менее жестким законам детского общежития. Кто знает, что происходит на этаже после отбоя, когда сотня ребят остается наедине с ночью, безрадостными думами, с диким „дубаком” из режимной службы? Кто кому „дает” (случаи мужеложества не редки), кто с кем „стыкается” (так называется честная драка), кто с кем сводит счеты и „разговаривает” при помощи кулаков, палок, ремней или багеток. У каждого из „дубаков” тоже свой нор. Один удовлетворяется „шмоном” — и тогда из мальчишечьих карманов летят все нехитрые их богатства: резинки, карандаши, письма, записные книжечки. Если авторучка и блокнотик приглянулись режимнику, можно не искать их поутру и не подозревать соседа: они обрели надежное пристанище в кармане блюстителя порядка. Другой режимник мается бессоницей и развлекает себя, стаскивая одеяла со спящих, поднимая их среди ночи криком по разным ничтожным поводам. Режимники почти всегда имеют в руках какой-нибудь символ власти: прут, палку, которые и пускают в ход для успокоения и тишины. Пожилые „дубаки” сами норовят вздремнуть и меньше злобствуют, зато молодые богаты на выдумку. Те и другие часто приходят под хмельком, и каждый проявляется сообразно своей натуре. Всем запомнился молодой, лет тридцати, мужчина со страшно бледным лицом и черными, без зрачков, глазами. Глаза, будто нарисованные ребенком и закрашенные угольной сажей: никаких оттенков цвета, чувства они не передают. Глаза словно два черных колодца. Глаза — провалы, глаза — омуты и лишь изредка на их мертвую поверхность поднимаются и вспыхивают недобрые огоньки. В человеке по имени „дядя Толя”, так называли его воспитанники, жили наклонности садиста. В его „трюке” был свой почерк. Он не просто изымал блокнотики, а вырывал из них исписанные страницы и рвал на мелкие кусочки, обдирали обложку. Точно так же он поступал с письмами. Если попадалась ему детская поделка, какой-нибудь самолетик или деревянный автомобиль, он топтал их ногами, разламывал в щепки. Детские игрушки в зоне вызывали, кстати, ненависть не у одного дяди Толи. Однажды Книгоноша стал свидетелем такого случая. В его отряде прижился маленький железный автофургон. Он сам его принес ребятам по их просьбе. Его привязывали за ниточку и катали по

очереди, причем сооружали на пути автомобильчика всевозможные препятствия. Это их развлекало не меньше, чем ребят детсадовского возраста. Книгоноша давно заметил, что если ребенок в свое время не пережил детства, неиспользованные ресурсы его как бы замораживаются, пребывают в анабиозе, а в благоприятный момент оттаивают, возрождаются. Оттаившие в его отряде ребяташки часто впадали в чисто младенческие забавы, что и не так уж противоестественно для 11-ти, 12-ти, 13-тилетних мальчишек, но кончались они всегда плачевно: за снежную крепость и за штурм ее с отряда сняли 500 баллов, за игру в снежки наказали, и забава с автофургончиком кончилась сама собой, так его ударом ноги разбыл физрук, колоритная и типичная фигура для спецшколы. Чем-то он напоминал дядю Толю. Не внешностью. По наружности физрук напоминал потомка Чингиз хана. Молодой, натренированный, он весь состоял словно бы из стальной ударной мышцы, при ходьбе пружинил и ноги ставил в раскорячку, будто только что слез с коня и еще чувствует его между ног. Щетки редких коротких усиков казались проволочными, а раскосые глаза под стеклами очков блестели ножевыми лезвиями. Они оставались холодными, когда физрук смеялся и скалил острые кривые зубы. Обычно за полставки воспитательских часов его „подключали” к отряду, дисциплина в котором пошатнулась. Методы воспитания сводились к одному ударному действию, причем настолько эффективному, что память о физруке оставалась у многих на всю жизнь. Например, Фоме Алиеву ударом кулака он пробил губу — остался шрам. Васе Тихому, когда тот сидел в ШК, выбил крепкий здоровый зуб. Тоже с одного удара. На воспитанниках он оттачивал свои кулачные приемы, мастерски делал им „калинку” — щелчок большим пальцем по голове, изощрял свое убогое тупоумие. Любимая шутка его заключалась в следующем. Идут отряды на завтрак, проходят тесный холодный тамбур. Юрий Васильевич Калмыков, физрук, стоя в дверях, вполголоса бубнит одну и ту же фразу: „Помойки! Помойки! Помойки!” Когда же случилось Калмыкову говорить публично, он всегда произносил исключительно правильные лозунговые слова, выражал мысли идейно-правильные и предельно педагогичные. „Дядя Толя” не умел так правильно выступать, но действовал в том же ударном ритме палочно-кулачного воспитания. Причем фантазия его достигала размеров гротеска: некоторых неблагонадежных, с его точки зрения, воспитанников он привязывал за член ниткой к кровати и заставлял лежать их в таком положении, для позора и устыжения столько времени, насколько у него хватало терпения любоваться их срамотой.

Запомнился Книгоноше и другой „дубак” ветром промелькнувший в сумеречной ночной жизни 2-го коллектива. Этот юный опричник успел побывать в тюрьме и, отсидев срок, пристроился на заработки в спецшколу, быстро усвоив специфику ее режимной службы. Его быстрые мелкие шаги слышны были еще на лестнице. С шумом распахивалась

дверь, с шумом и громом захлопывалась. Высокий, стремительный, вертикальный, он умел с особым шиком дымить зажатой в зубах сигаретой, он не входил, а врвался. Вместе с ним врвался запах вина и сигареты, даже если он ее в момент появления не курил. В руке проволочная тонкая плетка, хлесткий прут или ремень, если же орудия производства отсутствуют, руки засунуты глубоко в карманы. На голове огненной копной лисья пушистая шапка, лицо нервное и злое, глаза прищурены. Он не ходил, а метался по скамьям. Мгновенно наступала мертвая тишина. К счастью, опричник буйствовал на этаже недолго: его уголовное прошлое слишком резко и отчетливо вторгалось в настоящее, а практика террора в сочетании с хамским лексиконом носила такой скандальный характер, что его пришлось уволить.

На 1-ом коллективе пьяный режимник решил однажды развлечься, вломившись в святое-святых: кабинет самой Бабы Яги. Сделал он это руками воспитанников: заставил открыть запертую дверь. В кабинете он „гонял” пластинки, а в результате дознания на следующий день одного из двух участников этой увеселительной экспедиции, вскрывших замок, положили в санчасть тяжело избитым. „Дознание” велось в присутствии воспитателя. Дима Бенканов, мальчик с таким чистым идиллическим лицом, точно он сошел с картины Васнецова, неделю ходил в синяках и кровоподтеках. Вина его заключалась в страхе перед „дубаком”, послушаться которого не посмел. Другой воспитанник, более рослый и сильный, избежал наказания: его боялись бить.

Вот та новая „здоровая” среда, куда попадали дети, заброшенные в семье, с „воли”, с „улицы”. Можно понять Сашу Бакланова и других новичков, когда свои первые недели в спецшколе они рассеяны и невнимательны на уроках, когда они чаще плачут, чем смеются, и раздражаются от каждого пустяка.

Саша уже сидел в новом отряде, его уже меньше обижали, и он уже мог рассчитывать на понимание и помощь, но еще писал на промокашке: „Мамочка, дорогая, как я устал жить!”

На первых порах матери приходилось редко видеть сына: она пришла на свидание пьяная, пыталась передать Саше сигареты. Встречи запретили. Она не умела любить разумно, баловала сына и поощряла в нем слабости и порочные наклонности, так как сама оказалась слабой, безвольной и лживой. Позже Книгоноша хорошо ее разглядел и понял, насколько вообще можно понять человека по эпизодическим встречам, сбивчивым и часто противоречивым рассказам. Что сбило с ног эту женщину, оставалось тайной. Возможно, слишком большая любовь к радостным впечатлениям бытия — эту черту он заметил и у Саши. Радости ее определялись протокольно: „ведет разгульный образ жизни”. Кто и что приобщило ее к разгулу? Может быть, неудовлетворенность в супружестве? На фотографии отец Саши выглядел по-тюремному: нулевая стрижка, низкий продольный лоб, глубоко всаженные глаза,

классически тяжелая челюсть. Лицо в целом оставляло впечатление растерянности, недоумения. Вроде бы человек, дожив до 40 лет, так и не понял, зачем родился. Фотография прислана из тюрьмы. Отец Саши получил срок по незаурядному делу: убил парализованную тещу. Убийство произошло на глазах мальчика. В письмах из тюрьмы отец призывал сына хорошо учиться, готовить себя к доброй жизни. Благие советы, которыми щедры обычно родители спецшколовских детей. В письмах присутствовали тревожные вопросы: как живет мама, кто у нее бывает, судя по рассказам, как часто она навещает Сашу. Зверь ревности тупо дремал, не находя пищи, но присутствие его ощущалось. Бабушка Саши по отцу, несколько раз навещала внука, недолюбливала невестку. Она говорила о ней неприязненно и отстраненно. Но кто бы ни отстранял мать от Саши, попытки заранее были обречены на поражение: мать и Саша любили друг друга. Блеклые глаза матери расцветали незабудками, останавливаясь на сыне. Все тепло, которое помнил Саша, исходило от матери. Она привозила ему сладости, она ласкала и целовала его, друг для друга они были лучшими и самыми близкими, едиными по своим устремлениям людьми. Мать вводила сына, как друга, в сложный переплет родственных интриг, хотя они ему явно усложняли жизнь, без того нелегкую. Зато более благородного слушателя ей было не найти. Каждое ее слово будило в нем сочувствие и отклик. Мать же послушать — лучше ее Сашеньки не найти. Он и приветливый, и ласковый, и способный: сколько дней в школу не ходит, а все понимает с полуслова, учится хорошо. А уж письма какие пишет! Про письма Книгоноша знал. Цензура переписки воспитанников лежала бременем на его душе.

Саша на самом деле выделялся своей писучестью. Он писал не только матери и отцу — в тюрьму, но и всей многочисленной родне, бабушке и дедушке — особенно часто, наравне с письмами к матери. Саша вообще любил писать, ему легко давался русский язык. Одним из первых он попросил блокнот — нововведение Книгоноши. По уставу школы блокноты выдавались старостам классов для подсчета баллов и в качестве премиальных отличившимся в конкурсе на лучший рисунок, лучшее выступление в художественной самодеятельности.

Саше понадобился блокнот для писания. Названия кинофильмов, прочитанных книг, адреса, песни, стихи, которые надо заучить — все находило место в его блокноту. Потребовались вскоре блокноты остальным ребятам в отряде — опять же для песен и стихов, потому что песни и стихи звучали постоянно на репетициях и отрядных вечерах, стали реальностью их бытия. Что любил Книгоноша, то в конце концов полюбили и ребята — таков незыблемый закон живой педагогики.

Вывести Сашу из безразличия, пассивности помогла та же его писучесть: он сделался рьяным редактором стенгазеты. Выпуск отрядной газеты падал на воскресенье, Саша готовился к нему загодя. Он рылся в журналах, отыскивая подходящие к случаю юморески, интересные кроссворды. И без усталости выписывал заголовки в свой блокнот.

ЧАСТЬ II. СОН

Тоска очевидного сна. Такого грубого материального виденья давно не помню.

Мрачная комната с низкими казенными сводами. Стены окрашены половой охрой, и их грязная желтизна имеет гнусный сортирный оттенок. Потолочные лампочки голы и тусклы, надрывно мерцают, словно головки чирьев, раскаленные болью докрасна.

Они очень малы — ночниковые.

Из полутьмы выступает задник — одна стена, мелкосборчатая, плотно подогнанная. Она напоминает деревянную перегородку кают четвертого класса на старых речных пароходах. Почему-то притягивает, как магнит. На переднем плане горбятся контуры черных парт.

От стены веет тревогой.

Хожу, осматривая сумеречное классное хозяйство. Сомнения нет: это спецшкола. Специальное учебное заведение для трудновоспитуемых мальчишек. Для детей, которые очень рано начинают расплываться за грехи беспутных родителей. У их колыбели стоят пьянство, разврат, драки, скандалы, убийства. Их купель — выгребная яма пороков. Дети копируют игры взрослых людей, за это их отправляют в спецшколу, точнее — в детскую тюрьму. Охраняют ее по всем правилам: есть служба режима, подобранная из охотников за детьми. Ребята зовут их „дубаками” (в ходу тюремный жаргон). Есть вахта — караульное помещение, лепящееся сбоку от железной калитки и двухстворчатых лязгающих ворот. К их металлическому зеву примыкает унылый забор, петель затягивающий зону: огороженное пространство, где размещается приземистая кирпичная кишка школы, трехэтажный корпус спален, столовая, баня, прачечная. Есть даже санчасть, прибежище страждущих. Там латают пробитые головы, мажут зеленкой расквашенные носы и болячки, делают уколы, лечат чесоточных. Там тепло, можно хорошо отоспаться в тишине, такой странной после казарменного многолюдства спален, после ежедневных построений.

Строй — основа двухсоттридцатиголового мальчишеского коллектива, режим — его душа.

Но причем же здесь стена?

Почему она так волнует своей мертвенно-мрачной желтизной? Хожу, жду отряд с построения. Непривычно долго его задерживают. Лампочки ведут себя дико: они перемигиваются. Большой свет то совсем чахнет, остается волосяной накал — и тогда сугробы мрака растут, заваливают всю комнату, — то лихорадочно вспыхивают, пытаюсь преодолеть свою немощь. Странно, но их подслеповатое помаргивание, их восковое свечение оставляет один ярко видимый участок: желтый прямоугольник

задней стены. Можно думать, что он подсвечен изнутри, поэтому так выделяется, — волнует, притягивает. Видны даже пазы — плотно сшитые швы досок. И вот они оживают... Звук еще нет, но он предугадывается, равно как движение. Движение опережает звук... Образ рождается раньше: швы расцветают вспышкой металла. Вначале — ниточное поблескивание, два-три сантиметра вытянутой ртути. Она быстро растет, крепнет, белеет... Миг — и качается стальное лезвие ножа, врезанного по рукоятку. Один нож, два, три... Ножи всажены пунктирно, один над другим... Широкие, остро заточенные... Сталь мягко вибрирует... Рядом рождаются новые, параллельно поблескивая, раскачиваются... Теперь слышен и звук: сухое шелестение, как крупа о стекло. Слабое потрескивание, поскреживание: стекло кто-то жуёт.

Стена проросла ножами. Стена живая: все больше ножей, лезвия раскачиваются все энергичнее.

Острый дрожащий блеск стали завораживает, от него трудно оторваться. Лампочек не видно, ничего не видно, кроме пляшущих ножей. Ножи вобрали, всосали жалкие крохи света, которыми располагала эта отечная, гнойно-грязная комната. Спасительный мрак скрыл подтеки на потолке, катафалки парт. Только желтая стена празднует торжество, трепеща лезвиями. Острозубая, пористая, перистая! Стена, живородящая ножевой ужас. Удивление... Паралич воли... Затем отчетливая мысль: детей нельзя сюда пускать. Эта комната предназначена для убийства. Ведь кто-то управляет ножами, — там, по ту сторону стены. Раскачивает рукоятки... Скоро покажутся руки... Стена распадется, останутся одни ножи... Руки, лица, глаза убийц... Каким-то образом удастся вызвать начальника режима. У него два прозвища, одинаково симпатичные: Горбатый и Волк. Это старый кадровый офицер из войск МВД. К ведомству МВД относилась раньше колония для малолетних правонарушителей, которую переименовали в спецшколу. У него степенная, размеренная поступь, негромкий голос. Когда он хочет сделать кому-нибудь гадость, то говорит особенно тихо. В его повадках заметно уже благонравие возраста, даже в имени — оттенок патриархальности: Степан Никанорович Стрижин. Но глаза его под каменными сводами бровей никогда не улыбаются, сколько бы ни обнажались в коротком смешке целехонькие зубы, никогда не теплеют.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Боря — сын Людмилы Борисовны.
2. Гушин Николай Михайлович — художник, вернувшийся из эмиграции, из Франции. Умер в 60-х годах.
3. Юлиан Григорьевич Оксман (1894-1970) — литературовед, текстолог. Автор работ о декабристах, о Пушкине, Лермонтове, Герцене, Тургеневе, Белинском. С 1937 г. по 1946 г. — в заключении. 1946-1958 гг. — профессор университета в Саратове. В 1956 г. вернулся в Москву, реабилитирован. В 1964 г. после обыска и допроса в КГБ исключен из Союза писателей.
4. Речь идет о книге Р. Орловой „Мартин Иден”, Гослитиздат, 1967 г.
5. „Литературное наследство”, №78 „Писатели на Отечественной войне”. Отрицательный отзыв о статье Л. Копелева „Слово правды через фронт” был в журнале „Октябрь” № 12, 1967.
6. Речь идет о рассказе А. Солженицына „Случай на станции Кречетовка”, „Новый мир”, 1963, №1.
7. Отдельное издание повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича”.
8. Янина Георгиевна Неструх — Ответственный секретарь журнала „Литература в школе”.
9. „Единица — вздор, единица — ноль” — строка Маяковского. Л. Б. повторяет ее и в повести.
10. Корней Иванович Чуковский умер 28 октября 1969 г.
11. „Неделя как неделя” — повесть Н. Барановской, „Новый мир”, 1969, №11.
12. „Читательские курсы” — Р. Орлова вела в 1970-71 гг. рубрику под таким названием в журнале „Семья и школа”.
13. Н. Эйдельман „Лунин”, „Жизнь замечательных людей”, 1970.
14. Б. Я. Ямпольский — художник, знаток русской поэзии, один из саратовских друзей Л. Б.
15. Нобелевская премия А. Солженицыну.
16. Э. Хемингуэй „Острова в океане”, „Иностранная литература”.
17. „Сто лет одиночества”, роман Габриеля Гарсиа Маркеса.
18. Е. С. Добин „Анна Ахматова”, Сов. пис., 1968 г.
19. Нина Карловна покончила с собой после обыска и допроса в КГБ. Следователь убеждал ее, что хранившиеся у нее материалы компрометируют ее друзей и знакомых. После ее самоубийства, ставшего известным, дело о Самиздате в Саратове было прекращено. Никто не был тогда арестован.
20. Р. Орлова — „Гарриет Бичер Стоу. Очерк жизни и

творчества". „Просвещение", 1971 г.

21. „ВОПЛИ" – журнал „Вопросы литературы".

22. Во Владивостоке в филиале Академии наук создавался отдел гуманитарных наук, и одно время предполагалось, что Р. Д. Орлова будет там работать.

23. „Только детские книжки читать, только детские думы лелеять", О. Мандельштам, Стихотворения. М. 1973 г.

24. 12-13 февраля 1974 г. – арест и высылка А. Солженицына.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА (*Вступительная статья Р. Орловой
и Л. Копелева*) 7

ПИСЬМА 13

ПОВЕСТЬ 71

ПРИМЕЧАНИЯ 97

Людмила Магон — безвестная учительница из захолустья — живое олицетворение традиций русского просветительства, тех неиссякаемых традиций служения народу, которые сохранялись вопреки всем бедствиям, потрясениям, преследованиям.

Немало таких людей погибло — в тюрьмах, в лагерях, на войне, изглоданные нуждой, задушенные отчаянием, затравленные или спившиеся. Но их свет не угасал. Этот свет горел и в настольной лампе на маленьком письменном столе в заставленной книгами комнате в городке Марксе на Волге.

Ее письма отражают лишь малую часть испытанных страданий. При всем ее мужестве физическом и гражданском, при всей отваге, временами отчаянно лихой, мальчишески дерзкой — она была нежной, милой женщиной, обделенной женским счастьем, потаенно грустной, мучительно угнетаемой сознанием незадавшейся жизни.

Она умерла, едва начав свою первую повесть. Но и в письмах она — одаренный литератор. Еще не созная по-настоящему свое дарование, она уже ему подвластна — живет в Слове.

Из вступительной статьи Раисы Орловой и Льва Копелева

ISBN 0-88233-864-1